АСЕЕВ

АСЕЕВ

2

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в 5 ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1963

НИКОЛАЙ

АСЕЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 2

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

1927 · 1930

Стихотворения

Столичная лирика 1928

ПОСЛАНИЕ КРИТИКУ

Московские липы
цветут
на залитых жаром
бульварах.
Все лица
на резком свету:
июль
беспощаден
и ярок...
Вчера
налетел на меня
мой критик,
обиженный мною.
Он,
ножками
зло семеня,
ко мне
повернулся спиною.
Он в сторону
прыгнул блохой,
и видимо было
по роже —

какой
человек я плохой,
какой
человек он хороший!
О, злостью сведенный
педант,
надутый обидой
филистер,
взгляни без тоски
хоть сюда,
на
медом плывущие
листья!
Сильней
этот запах втяни —
густой
и счастливый,
как детство, —
и рифма
тебя осенит,
как первое слово
младенца.
И если
цветенья игра
тебя
обоймет
и затронет, —
клянусь
не писать эпиграмм,
зарыться
в безмолвии хроник.
Я путь
уступаю тогда, —
иди
циркулярствуй
и шефствуй,
клянусь —
не бесславить
года
твоих
триумфаторских шествий.

Но нет!
Раздувается спесь
индючьего
сизого зоба.
И
песню —
какую ни спеть —
не слышит
глухая особа!
И вновь
разгораются прения:
он
скучно заспорит,
и тут,
хоть
и без его одобрения,
московские липы
цветут.

1927

СУХОЙ ДОКЛАД О ЖАЖДЕ СВЕТЛЫХ РЕЧНЫХ ПРОХЛАД

В окно
глядятся листики...
Пейзаж —
как в беллетристике.
Покуда
глазу видимо,
он жаром
залит прочно,
как будто
весь он выдуман
полистно
и построчно.
Дрожит
под солнцем
знойный вид,
как автор
в жажде славы,
и даже
Кремль норовит
отдельно
плавить главы.
Постой!
Хоть ты и урбанист,
но если —
город душит,
напрягши мускулы,
рванись

из-под бетонной
туши.
Асфальт,
железо
и стекло,
все —
липким потом истекло.
Из городского
барахла
в речную зыбь
и свежесть,
в раскат
и лень
речных прохлад
плечом и грудью
врежусь;
под деревянную
бадью,
под
синих брызг
мониста...
А критик —
пусть зовет
судью
и судит
урбаниста.

1928

ПРЕДГРОЗЬЕ

В комнате высокой
на целый день
сумрачная, смутная
осела тень.
Облачные очереди
стали в ряд,
молнии рубцами
на лице горят.
Голос ненаигранный —
дальний гром,
словно память кинутая
детских дрём.
Вот и ветер, хлынувший
волной обид,
каждый сердца клинышек
дождем дробит...
Движется республика,
шумит внизу,
слушает плывущую
над ней грозу.
Как мне нынче хочется
сто лет прожить, —
чтоб про наши горечи
рассказ сложить.
Чтобы стародавнюю
глухую быль
били крылья памяти,
как дождик — пыль.

Чтобы ветер взвихренный
    в развал теней —
голос ненаигранный
    чтоб пел о ней.
О моей высокой
    синемолнийной
комнате, тревогою
    наполненной.
Вот хотя бы этот
    грозовой мотив
выпомнить и выполнить,
    на слух схватив.
Это не колеса
    бьют и цокают
в песнь мою и в жизнь мою
    высокую.
Это рвет республика
    сердца внизу,
слушая плывущую
    над ней грозу.
Ты плыви, плыви,
    гроза, по желобу:
долго небу не бывать
    тяжелому.
Ты плыви, гроза,
    на нас не вешайся,
прибавляй нам смелости
    да свежести.
По моей высокой
    синемолнийной,
бодрою тревогою
    наполненной.

1928

РАНЫМ-РАНО

Утром —
еле глаза протрут —
люди
плечи впрягают в труд.
В небе
ночи еще синева,
еще темен
туч сеновал...
А уже,
звеня и дрожа,
по путям
трамвай пробежал;
и уже,
ломясь от зевот,
раскрывает
цеха завод.
Яви пленка
еще тонка,
еще призрачна
зудь станка...
Утро
точит свое лезвие;
зори
взялись за дело свое.
В небо
руки свои воздев,
штукатуры
встают везде.
Кисть красильщика
и маляра

тянет
суриковые колера...
Светлый глаз свой
и чуткий слух
люди отдали
ремеслу.
Если любишь ты жизнь,
поэт, —
раным-рано проснись,
чуть свет.
Чтоб рука
не легла, как плеть,
встань у песен
пылать и тлеть.
Каждый звук свой
и каждый слог
преврати
в людей ремесло,
чтоб трясло,
как кирка забой,
сердце —
дней глубину —
тобой.
Слушай,
чтоб не смолкал твой слух,
этот грохот
и этот стук;
помни,
чтоб не ослеп твой глаз,
этот отблеск
и этот лязг.
Не опускай
напряженных плеч,
не облегчай
боевую речь;
пусть, хитра она
и тонка,
вьется стружкой
вокруг станка.

1928

ДЕНЬ ОТДЫХА

Когда в июнь
часов с восьми
жестокий
врежется жасмин
тяжелой влажью
веток,
тогда —
настало лето.
Прольются
волны молока,
пойдут
листвою полыхать
каштанов ветви
либо —
зареющие липы.
Тогда,
куда бы ты ни шел,
шумит Москвы
зеленый шелк,
цветков
пучками вышит,
шумит,
горит
и дышит!
Не знаю, как
и для кого,
но мне
по пятидневкам

Нескучный
машет рукавом,
зовет
прохладным эхом;
и в полдень,
в самую жару —
кисейный
полог света —
скользят
в Серебряном бору
седые тени
с веток.
Как хорошо
часов с пяти
забраться
в тень густую!
В Москве —
хоть шаром покати,
Москва
тогда пустует.
И вдруг нахлынет
пестрый гам
людским
нестройным хором
и понесется
по лугам,
по Воробьевым
горам.
Мне хорошо с людьми,
когда
они спешат
на отдых,
и плещет
ласково вода
в борты
бегущих лодок.
Мне хорошо,
когда они,
размяв
от ноши
плечи,

разложат
мирные огни
в голубоватый
вечер.
А на окраинах
уже,
по стыкам рельс
хромая, —
чем вечер позже
и свежей —
длинней
ряды трамваев;
они
настойчиво звенят,
зовут
нетерпеливо
нести
домой нас,
как щенят,
усталых
и счастливых.

1928

НОЧЬЮ ИЗ ОКНА

Мы растем,
развертываем плечи,
завоевываем воздух,
радио,
кино.
Но —
сквозь новый облик человечий
просквозит внезапно
век иной.
Вверх бегут
готические своды
в каменные
средние века,
будто снова —
сумрачные воды
повернула
времени река.
И на этом
современном свете
безо всяких
новых перемен...
Задыхаясь,
Сакко и Ванцетти
кандалами
брякают
в тюрьме.
Бредят люди
в постоянном страхе,

и
неверных Риму
горожан
в переулках
черные рубахи
холодно
и зорко сторожат.
Глянь на море...
Волны так же серы.
Будто
бронь стальную
погребли.
И стянули снова
флибустьеры
к безоружным странам
корабли.
В мире — глухо,
зло
и сиротливо...
Посмотри,
как вспыхнули огни:
это —
город будут
в час отлива,
отступая,
поджигать они.
Видишь,
как от мала
до велика
высыпал
народ на берега.
Слышишь,
как кривится
рот от крика,
как разрыва
длится перекат!
Что же ты,
потупившийся сиро,
что придумал
на защиту ты, —

вместо этого
стареющего мира,
черной нищеты
и пустоты?
Хочешь ли,
чтоб это продолжалось,
чтобы даль
кнута была грубей,
чтобы только страх,
и гнев,
и жалость
панихиду
пели по тебе?
Разметать
каким доверишь
бурям
ты,
к стеклу приникнувший
без сил,
жерла пушек,
плиты горьких тюрем,
скопища
летучие бацилл?
Не в одной-
единственной стране ли,
чьей весны
от губ
не отогнать,
времена иные
засинели,
как рассвет
у моего окна?!
Пусть еще и холодно
и лунно,
пусть о камни
бьет еще приклад —
ты встаешь
из сумерек,
коммуна,
резкой явью
стали и стекла.

Рушатся
готические своды
на забытом,
древнем берегу,
и времен
натруженные воды
к твоему подножию
текут.

1927

СВЕТ

По Москве
кричат петухи!..
Значит —
суп у нас будет с курицей.
Отчего же
мои стихи
продолжают
мрачнеть и хмуриться?
По стране
звенят пятаки,
серебро
оттянуло гашники.
И сравнений
нет никаких
с захудалостью
дня вчерашнего!
Только радость моя —
узка,
мельтешит
от случая к случаю.
Неужели ж
я стал брюзга,
не затронутый
жизнью лучшею?
По Москве у нас
шум и свет!..
Неужели же
мы не вычистим
тишину
непролазных лет
рассиявшимся электричеством?

Мне не сласть —
над одной Москвой
видеть света
дуги и радуги:
я хочу,
чтобы им насквозь
пламенеть
на Волге и Ладоге.
Муть и сонь
непробудных мест,
грохоток
под железной шиною, —
в дрожи звезд
задремал уезд
тишиной своей
петушиною.
Сколько лет нам
за лес и хлеб,
подвозимый
горькими клячами,
распевать
про навоз и хлев, —
жить лишь
радостями телячьими?!
Не насквозь же
сердца пророс —
и сердца
остеклели заживо —
этот злой
голубой мороз,
поровящий
кровь замораживать?!
Нет!
Недаром тот блеск и шум.
Разбросайся, костер,
поленьями.
Сдвинься с места,
гиляцкий чум,
топоча ногами оленьими.
Шевелись,
голосок во рту,

желчь и горечь обиды
выплюнув.
Мы собьем вековой колтун,
темнотой
над Севером вздыбленный.
Полыхнет —
не в одной Москве, —
жить светлее
повсюду хочется, —
этих зорь
небывалый свет,
и петушья песня
прикончится!
Свет
сверлящих тьму
проводов,
глаз зари,
запылавший ранее,
ты затмишь
своей правотой
даже
Северное сияние.
Не погаснешь ты
под крылом,
слепотой
и ужасом веющим;
ты нам блещешь
в темь
напролом
по снегам,
зарей розовеющим...
По Москве
кричат петухи,
по нашестам своим
орут еще.
Но растут
огни
и стихи
о сияющем
нашем будущем!

1928

МОСКВИЧИ

1

Своею,
совсем особою кастою, —
чужие придут —
сгорим от свечи, —
жили лобастые
и очкастые
закоренелые
москвичи.
На Сивцевом Вражке,
на Старо-Конюшенном
и дальше
за тусклым просветом реки
еще и теперь
могут быть обнаружены
их старые гнезда —
особняки.
Носители славы
и знания светочи,
они
родовое хранили лицо
среди
дорогой им
наследственной ветоши,
покрытой душистой
истлелой пыльцой.

Всем семейством,
за компанию,
ездили в баню.
Всей Москвою
правили свадьбищи,
и, отсияв,
отплясав,
отгорев,
род за родом
сбирался на кладбище
тем же цугом
фамильных карет.
Трещали комоды
пузатого дерева,
ложились
пасьянсовых карт
веера,
и маятник
грузное время отмеривал
над хитрыми
росчерками пера.
Так проходило
лет полсто́,
и в перебродившем
вине поколений,
скопившись в застое
довольства и лени,
крепчал,
зародившись,
Лев Толстой.
Он,
будто ударить страшась,
за пояс
засунув
огромную руку-клешню,
вставал,
распирая
и полня собою
дубового века
тугую квашню.

2

Быть может,
они и взаправду сгорели,
когда,
разливая весенний галдеж,
от плоских Башкирий,
от тусклых Карелий
пришла
непонятливая молодежь.
Пришла,
молодыми плечьми
колыхая,
и из-под верблюжьих шерстей
и овчин
глядит,
запрокинув свои малахаи:
«Учи нас
науке своей,
москвичи».
Ей хочется
нынешней новины
свежей, —
как ноздри оленя,
парной и простой.
А мы ей:
«Постой, товарищ,
а где же
таящийся
среди вас Толстой?
Чтоб он появился —
под нашей опекой
концерты послушай,
музей обегай.
Чтоб ты научился
переживать
к следующей зиме —
выслушай лекцию
о кружевах.
Выучи
метр и размер:

«Ветром густым
ломит кусты,
мчится стрелой
олень.
Я на весу
пулю несу,
мог бы догнать,
да лень.
Что мне бежать,
если свежа
вечера
сонь и тень.
Это не лес —
города блеск,
это — трамвай, —
не олень».

3

Когда возвращался
какой-нибудь пьяненький,
от вин,
почета
и времени дряхл,
он был раздеваем
столетнею нянькой
в повойнике пестром
на серых кудрях.
А эти —
не требуют наблюдений,
крепки их клыки
и упруга рука.
Высок и росист
рассиявшийся день их,
и ночь их спокойна
и глубока.
До их кочевого
тревожного быта
еще не коснулся
бродильный застой.

Из них не придет —
на носу зарубите —
ни Пушкин,
ни Гоголь,
ни Лев Толстой.
Мы — молодость мира,
мы только на старте,
мы только
от города
взяли ключи,
и вы нас
не гните,
вы нас
не старьте,
мы —
новых повадок и дел
москвичи.
Болота и пустошь,
тайга и избушки...
Пожалуйста,
вы им
не делайте сцен.
Наш Гоголь,
наш Гейне,
наш Гете,
наш Пушкин
сидят,
изучая
политику цен.
Довольно ходить
поколению с соской!
В ответ на язвительный
старческий смех
мы нянькам ответили:
«Наш — Маяковский,
с бульвара
плечьми
протолкавшийся в век.
Мы с ним
не потупимся
прищурью зоркой,

и мы не сгорим
от грошовой свечи,
с обношенной шапкой,
с обглоданной коркой,
мы,
новой формации москвичи!»

1927

Оранжевый свет
1928

СВЕТ МОЙ...

Свет мой оранжевый,
    на склоне дня
не замораживай
    хоть ты меня.
Не замораживай
    в лед и в дрожь,
не завораживай
    в лень и в ложь.
Чтобы — первый
    сухой снежок
щек моих не щекотал,
    не жег;
чтобы — зимнее
    марево
глаз не льдило,
    не хмарило.
Дзень-дзирилинь-дзинь,
    дзанг-джеой,
длись, мой свежий,
    оранжевой.
Что ты, в самом деле,
    с ума сошел?

Петь такие песни
    нехорошо.
Петь такие песни
    невыгодно, —
разве ж наши зимы
    без выхода?
Если натереть бы
    небо порохом, —
где б ходить тогда
    по небу сполохам?
Если все была бы
    только выгода, —
где тогда искать бы
    сердцу выхода?
Свет мой оранжевый,
    на склоне дня
не замораживай
    хоть ты меня.
Не замораживай
    мое лицо
в лед, и в ложь,
    и в лень, и в сон.
Дзень-дзирилинь-дзинь,
    дзанг-джеой,
длись, мой свежий,
    оранжевой!

1927

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ

За то,
что наша сила
была,
как жизнь, простой,
что наша песнь
косила
молчанье
и застой.
За то,
что даль клубила
в нас
помыслы — мечтой,
нас молодость
любила.
За что,
за что,
за что?
О серо-розоватый
рассветный час,
навек,
навек сосватай
с весною нас,
навек,
навек сосватай,
соедини
с березою
и мятой
стальные дни!

Что
свежестью первичной
мы шли
обнесены,
что
не было привычной
нам меры
и цены.
За крепость
и за смелость
в тревожные года,
за то,
что громко пелось
всегда,
всегда,
всегда!
За то,
что мы,
от робких
пути поотрезав,
ловили
в дальних сопках
напевы партизан.
За то,
что мы не крылись,
меняя имена,
когда
плыла у крылец —
война,
война,
война!
За то,
что революций
нам слышен
шаг густой,
что песни наши
вьются
над
красною звездой.
За то,
что жизнь трубила

настигнутой
мечтой,
нас молодость
любила.
За что,
за что,
за что?
О серо-розоватый
вечерний час,
навек,
навек сосватай
с весною нас,
навек,
навек сосватай,
соедини
со свежестью
несмятой
стальные дни!

1928

ЗВЕНИ, МОЛОДОСТЬ

Звени, звени, молодость,
сильная да злая,
жизнь твоя веселая,
полная до края.

Только помни, молодость,
не без края весен,
станет свистом, холодом
свет непереносен.

Станут тучи серые
над тобой метаться,
станет ночи целые
думаться, не спаться.

Звени, звени, молодость,
свежая да злая,
имя свое легкое
хвастая и славя.

Только что тут выдумать,
если все едино
видимо-невидимо
в голове сединок.

Губы мои лю́бые,
вы уже не прежни:
вовсе стали грубые,
а бывали нежны.

Звени, звени, молодость,
быстрая да злая,
звездами да грозами
дополна пылая.

Видно, впрямь нездорово
конному опешить,
голову, как олово,
на ладони вешать.

Как ее ни вешаешь
низко на ладони, —
все равно не сделаешь
снова молодою.

Раззвенись же, молодость,
до глухого места,
помоги мне с осенью
сдуматься и спеться.

1927

ПЕСНЯ О ПРЕДМЕТЕ РОСКОШИ

1

Стой,
довольно вздор писать!
Есть же
цвет и вкус
в вещах?!
Голубую
шерсть песца
я добыть
вам обещал.
Неразборчив
след судьбы,
но у этих
легких ног —
будь я проклят
и забыт! —
упадет он,
как венок.
Я и сам
не так уж прост.
Я делю
добычу с ней:
выпрямляюсь
в полный рост,
как разумней
и честней.
Если
Север наш суров,

если
жаждет он побед, —
льдись в кристалл,
мое перо,
выполняется
обет.
Если
вьюгу затрясло, —
значит,
ей меня не жаль...
Становлюсь
на лыжи слов,
ухожу
в литую даль.

2

Запорошены
следы,
стонет тундры
колыбель.
Он
среди других — седых —
всех быстрей
и голубей.
Вился по ветру
дымок,
билась об землю
пурга.
Он собрался
весь в комок,
в снеговой
скача курган.
От снегов
в глазах рябит,
простынь
пухлая топка́...
Вот он
пойман
и убит:

щелканул
зубцом капкан.
Он прижат
щекой к снегам,
он оскалил
белый зуб,
никогда
не полагав
ветром
выстеклить слезу.
Вот и все,
что записал,
все,
что высмотреть
я смог,
кинув ветрам
в небеса:
а теперь —
к губам замок,
а теперь...
Ты кто таков,
чьи виденья
так остры, —
подложи-ка
с двух боков
сушняка
в мои костры.

3

А теперь,
мои друзья,
я засну,
жарой томим.
Шкуру
от костей разъять
уж придется
вам самим.
Не посмей
на нас клепать,

гнусь, —
скорей забейся в щель.
Видишь,
что́ я ей припас:
цвет и вкус
и вес вещей.
Сплю я в ряд
с моей судьбой,
и тепло
ее плечо.
Вьюга льдится,
снег рябой,
уголь
спину мне печет.
Нет, не сплю я.
Сон бежит.
И у белых
легких ног,
голубея,
он лежит,
развернувшись,
как венок.

1926—1927

ГОРОДУ

1

Это имя —
как гром
и как град:
Петербург,
Петроград,
Ленинград!
Не царей,
не их слуг,
не их шлюх
в этом городе
слушай, мой слух.
И не повесть
дворцовых убийств,
на зрачках
нависай и клубись.
Не страшны и молчат
для меня
завитые копыта
коня.
И оттуда,
где спит равелин,
засияв,
меня дни увели.
Вижу:
времени вскрикнувший в лад,
светлый город
болот и баллад;

по торцам
прогремевший сапог,
закипающий
говор эпох;
им
в упор затеваемый спор
с перезвоном
серебряных шпор
и тревожною ранью —
людей
онемелых
у очередей.

2

Товарищи!
Свежей моряной
подернут
широкий залив.
Товарищи!
Вымпел багряный
трепещет,
сердца опалив.
Товарищи!
Долгие мили
тяжелой
соленой воды
давно с нас слизали
и смыли
последнего боя
следы.
Но память —
куда ее денешь? —
те гордые
ночи хранит,
как бился тараном
Юденич
о серый
суровый гранит.
И вспомнив, —
тревожно и споро

и радостно
биться сердцам,
как,
борт повернувши,
«Аврора»
сверкнула зрачком
по дворцам.
И после,
как вьюга шутила,
снега
на висок зачесав,
как горлом стуженым
Путилов
кричал
о последних часах...
Об этом
неласковом годе
запомнив
на тысячу лет,
он,
вижу,
молчит и уходит
в сереющий
утренний свет.
Товарищи!
Крепче за локти.
О нем еще память —
свежа.
Глядите,
как двинулся к Охте;
смотрите,
чтоб он не сбежал,
единственный
город Союза,
чей век
начинался с него,
соча свои слезы
сквозь шлюзы,
сцепивши
мосты над Невой.

3

Он на дали сквозные —
мастак,
он построен
на ровных местах.
Но забыт
и никем не воспет
заревой
и вечерний проспект.
Он оставлен
той ночью в полон
корабельных
зеленых колонн.
Он оставлен
навеки тайком
пробавляться
солдатским пайком.
Но не спится ему
по утрам
под давящей ладонью
Петра.
И Лодейною улицей
в док
пролетает
тревожный гудок.
И когда
прибывает Нева,
он бормочет
глухие слова.
Он снимается с места.
И вот
он шумит,
он живет,
он плывет.
И его уже нету...
Лишь гул
одичалой воды
доплеснул.

Лишь —
от центра на острова
бьется грудью
с гранитом трава.

4

Стой!
Ни с места!
Будешь сыт!
Жить без города нам —
стыд.
Разведешь
меж островами
снова
легкие мосты.
Видишь:
дым хвостами задран,
скручен прядью
на виске.
То —
балтийская эскадра
по твоей
дымит тоске.
Военморы!
Полный ход.
Глубже,
глубже,
глубже
лот.
Вы ведь
городу большому —
мощь,
защита
и оплот.
По морям,
морям,
морям,
нынче здесь,
а завтра там!

Ты им
      старшим братом будешь,
всем
    восставшим городам!
Кораблей военных
                  контур,
расстилая низко дым,
вновь скользит
              по горизонту.
Ленинград!
          Следи за ними.
Обновив и век
              и имя,
стань навечно
              молодым!

1925—1927.

МОСКВОРЕЦКИЕ ЧАСТУШКИ

На Москву да на реку
светит по фонарику —
с каждого пролетца
свет на воду льется.

Я на Каменном мосту
и гуляю и расту,
только мне не вырасти:
очень много сырости.

За мостом на Балчуге
молодые мальчики,
молодые, русые,
бритые, безусые.

Как вас по имени,
как вас по отчеству,
как ваша фамилия? —
очень знать нам хочется.

Хоть и очень интересно, —
не вступаю в разговор
с незнакомым, неизвестным:
может, жулик либо вор.

Автобусы идут
номерованные.
Ох, думки мои,
замурованные.

Возьми меня вывези,
что ж я здесь на привязи?
Поскорее вывози,
не завязни во грязи.

Как у нас на Яузе
ходят тенью кляузы,
под стеной столетнею
вьется плесень сплетнею.

Побегу я на реку,
поклонюсь фонарику:
посвети мне, друг фонарик,
чтоб не сбиться мне с пути.

Светит город за рекой,
до него подать рукой,
если б встрелся провожатый —
хоть ледащенький какой.

Чтобы встрелся на дороге
вежливый, воспитанный,
чтобы был бы без мороки
в жизни друг испытанный.

Ах, Чистые пруды,
тяжелые труды.
Разметались мои мысли,
заплуталися следы.

1928

ЗА СИНИЕ ДНИ

В Крыму расцветают черешни и вишни,
там тихое море и теплый прибой.
А я, никому здесь не нужный и лишний,
не знаю, как быть и что делать с собой.

А я пропадаю за милую душу,
за милую душу, за синие дни;
ночую без крыши и сплю без подушек,
скитаюсь без цели, живу без родни.

На Курском вокзале — большие составы,
доплаты за скорость платить не могу.
А мне надоело стрелять у заставы,
на темном подъезде на желтом снегу.

Уже декапод нажимает на рельсы,
уходит на юг, как и в прошлом году...
Смотри, беспризорник, вернее нацелься,
ныряй под вагон на неполном ходу.

Залягу жгутом в электрический ящик,
от сажи и пыли, как кошка, рябой;
доеду — добуду краев настоящих,
где тихое море и теплый прибой.

Доеду — зароюсь в горячий песочек,
от жаркого солнца растает тоска;
доеду — добуду зеленую Сочу,
зеленую Сочу и Нову Аскань.

Нас пар не обварит и смерть не задушит,
бригада не выгонит из западни.
Мы здесь пропадем за милую душу,
за милую душу, за синие дни.

1927

Стихи на случай
1928

ПЕСНИ ПИЩИКА

Вот — кот Пищик,
умнее не сыщешь:
глаз лучистый,
хвост пушистый,
цвет — пожарно-огневой...

Посмотрите эти песни
и картинки про него.

У меня есть кот,
вечно голоден живет,
вечно голоден, не сыт,
вечно думает, не спит:
как бы в шкаф ему залезть,
как бы все в шкафу поесть.

Са-ла
ма-ло,
мя-са
мас-са,
ко-рок
во-рох,
пирогов сорок,

вареники в плошке
да телячьи ножки,
еще — около
стоит окорок,
поросячий бок.
требушинки клок,
индюшиный хлуп
да петуший пуп!
Все запить молоком,
все заесть толокном,
жаренюю пышкой,
шоколадной мышкой.

«Киска, киска,
мыши близко!»

«Мне нет дела до мышей,
сам мышей гони взашей.
Мне за ними гнаться лень,
я сижу — гляжу на тень:
на тени — мои усы
неописанной красы».

«Что ты делаешь,
котан?
Книгу портишь,
шарлатан».

«Ничего не порчу,
видишь — морду морщу;
увлечен наукою,
грамотно мяукаю».

У меня есть кот,
вечно голоден живет;
он такую песнь поет:
хорр-морр, хорр-морр.
у меня хозяин вор,
им — моя телятина
бессовестно украдена;

хырр-мырр, хырр-мырр,
весь поел хозяин жир,
а все косточки —
спрятал в горсточке.

В том вон
магазине
продавец —
разиня.
Торгуйся,
ругайся,
за меня
тягайся.
А я прыгну
из мешка
за прилавок
в два прыжка.
Только миг —
и в уголок
все колбасы уволок.
Киске — брыски...
Колбасы — огрызки.

Котик Пищик,
разбирайся в пище.
Можешь враз
попасть впросак,
со слезами
на глазах,
со слезами
солеными,
со усами
палеными.

Раз он встретил
крыс, крыс;
уж как он их
грыз, грыз.

А теперь у кота
во всем теле ломота,
белый свет ему не люб,
разболелся страшно зуб.
Дело-то было бесполезное:
крысы-то были — железные,
искусственные,
бесчувственные —
на колесиках.

Прыг, скок,
брык в бок,
тот прыжок
пойдет мне в прок.
Прыг, хлоп,
прыг, гоп,
ну, теперь
пойдем в галоп.
Прыг вверх,
гоп вкось,
ну-ка вскинусь
на авось.

Но — на все
четыре лапы
упаду я, —
как ни брось.

1925—1927

ТОП-ТОП-ТОП

По улице по тряской,
сверкая свежей краской,
пока весь город пуст,
выходит из гара́жа,
как слон для магараджи,
тяжелый автобус.

И следом — ходом спорым,
отфыркнувшись мотором,
шумя, грозя, сопя,
выкатывают чинно
грузовиковы шины,
замотаны в цепях.

Потом, шурша чуть слышно,
выскальзывает пышно
открытый, легковой;
поет его сирена —
и пешеход смиренно
отходит с мостовой.

А дальше — малолетка
спешит мотоциклетка,
хлопочет и пыхтит:
«Ах-ах! Ахти мне, братцы!
Меж вами — не пробраться,
ахти, ахти, ахти!»

На стыках рельс хромая,
кругом бегут трамваи:
«Зерзинь, зерзинь, зерзинь!
Напоминаем строго,
что шумная дорога —
опасна для разинь!»

А вот гремит платформа;
лоснящийся от корма
битюжный ломовик —
большой и неуклюжий —
копытом бьет по луже:
он к тяжестям привык!

За ним — извозчик рослый,
перекосивши козлы,
кричит: «Па-жа! Па-жа!»
И все это стремится,
спешит вперед, струится,
по улицам кружа.

В таком водовороте
вот стой, открывши ротик,
не зная — как пройти.
Копытам, шинам, спицам
нельзя остановиться —
крути, лети, верти!

О, маленькая мышка!
Тебе бы здесь и крышка,
и кончен бы рассказ...
Но у милиционера
прекрасная манера
и очень зоркий глаз!

Он глянул бодро, браво
налево и направо,
и шум и гам исчез;
свободен путь опасный:
он поднял жезл красный,
он только поднял жезл.

И все автомобили
немедленно застыли,
и все движенье — стоп!
Бегите, крошки-ножки,
без страха по дорожке —
топ-топ, топ-топ, топ-топ!

Трясясь на шинах дутых,
все терпеливо ждут их —
чуть слышные шаги,
благодаря которым
отрезан путь моторам
и стали битюги.

Шоферам всем обидно:
им даже и не видно,
кто путь их пересек!
Глядят из-под ладони:
подпрыгивают кони,
кто задержал их всех?!

Но кончен путь опасный,
и жезл опущен красный.
Прошел короткий миг.
И вновь движенье льется,
и крутятся колеса,
и шины — шмыг да шмыг!

1925—1927

НОЧНЫЕ СТРАХИ

В зверинце всех выше
и толще — слон.
Едва уместился
под крышей он.
Отличный слон,
индийский слон,
шершавый и серый
со всех сторон.

Такой необычный
имея рост,
он мог бы занять
очень важный пост,
но, будучи прост,
как чиж или дрозд,
он хоботом ловит
себя за хвост.

Когда наступает
ночная тишь,
во мраке тихонько
скребется мышь
и в поисках корки
выходит из норки,
уверенная,
что ты крепко спишь.

И вот просыпается
в страхе слон,

от маленьких глазок
он гонит сон.
Расставивши ноги,
трубит он в тревоге,
за стоном глухой
испуская стон.

Щемит его сердце
ужасный страх.
Его окружает
бездонный мрак.
А в этаком мраке
какие уж драки!
Наверно, невидимый
грозен враг.

Не чувствуя
за собою вин,
отчаянно клювом
стучит пингвин.
Поверх крокодила
вода заходила,
но он не шумит
изо всех один.

Зато совершенно
забывши лень,
вздыхает и лает
морской тюлень.
И, лапы под мышки
засунув, мартышки
визжат, пока в окна
не глянет день.

На рев просыпается
желтый лев;
спросонья он тотчас
впадает в гнев:
слону от испуга
приходится туго,
и лев открывает
зубастый зев.

По клеткам проносится
гул и шум:
на задние лапы
встает опоссум;
и белый медведь
начинает реветь,
как будто лизнул
раскаленную медь.

Мышонок же, скрывшись, —
скорей, скорей! —
усы умывает
в своей норе;
и ночи остаток
он братьев хвостатых
волнует рассказом
про страх зверей.

Хоть слон поднимает
огромный груз, —
смотрите, какой он,
однако, трус!
Всех толще и выше,
а маленькой мыши
боится, смеющейся
тихо в ус.

И нам и мышонку
смешон тот слон;
от страха ночами
трясется он.
Над хныкалкой этим
смеяться всем детям —
и весел и крепок
их будет сон.

1927

ЛЕТИТ ХОХОТОК —
БЕГУТ НА КАТОК!

Командовавший фрóнтами
  архангельских лесов,
    чье оспинами тронуто
     квадратное лицо, —
толкнув носком упруго
  шершавое стекло,
    легко понес по кругу
     сто семь своих кило.

И вслед ему поплыли
  на ледяном ветру
    сквозь блестки снежной пыли
     стенанья медных труб.
И, легкой каруселью
  кружа людской поток,
    морозное веселье
     ворвалось на каток.

«Ходить друг к другу в гости? —
  какой-то бас сказал. —
    Забудьте это, бросьте,
     вот это — бальный зал.
Ну, где такой, как этот, —
  и он ладонь простер, —
    скользящего потока
     безудержный простор?!»

Здесь локоны, каштанясь,
сверкают в огоньках
под самый свежий танец —
танец на коньках.
Кто верит в свежесть смолоду
и в ясный смех,
тот не боится холода
и любит бег.

Скользите, ноги резвые,
быстрей, быстрей!
Стальные скальтесь, лезвия,
острей, острей!
Лети, чтоб дух захватывал,
к земле стелясь,
гони к чертям лохматую
мечтательность!

Дорожка залитая —
дыханье экономь.
Друг дружку облетайте,
бегун за бегуном.
Когда-то серый слесарь,
теперешний пилот,
смотри, как ловко срезал
фигурным ходом лед!
И вестником крылатым
летящий чемпион, —
он служит за прилавком
в МСПО.

Скользите, ноги резвые,
быстрей, быстрей!
Звените сталью, лезвия,
острей, острей!
Далеко на Девичке
мелькают рукавички.
Глаза, сверкайте ярче
на Патриарших!

И, быстрыми тенями
  сменясь, кружись,
    веселого «Динамо»
      льдяная жизнь.
И, легкой каруселью
  пустив людской поток,
    морозное веселье,
      кружи каток!

1928

КОНЕЦ ЗИМЕ

Бабахнет
весенняя пушка
с улиц,
завертится
солнечное ядро;
большую
блистающую
сосулю
бросает
в весеннюю грусть и дрожь.
По каплям
разбрызгивается холод,
по каплям
распластывается тень;
уже мостовая
свежо и голо
цветет,
от снега осиротев.
Вот так бы
и нам,
весенним людишкам,
под гром и грохот
летучих лучей
скатиться
по легким
сквозным ледышкам

в весенний
пенный,
льюнный ручей.
Ударил в сердце
горячий гром бы,
и радостью
новых,
свежих времен,
вертушкой
горячей солнечной бомбы
конец зимы
чтоб был заклеймен!

1926—1927

У МАЯ МОЕГО

У мая моего
лицо худое
и ярок рот
от песни боевой.
И грозные глаза
за льдов слюдою
у мая моего.

У мая моего
и шарф и кепка,
как паруса
над бурной мостовой.
И глянцевая куртка
блещет крепко
у мая моего.

От мая моего
не стану старше,
но, выучась
походке строевой,
совью всех дней
разрозненные марши
у мая моего.

От мая моего
немейте, будни, —
в его дыханье
ветер слоевой.

Нет праздника
свежей и светлолюдней,
чем — мая моего.

Для мая моего
стих тих и тесен, —
в его ли воле
говор краевой?..
Идите все
просите сил и песен,
берите все
у мая моего!

1926—1927

ПИОНЕР-ПЕСНЯ

Чьи песни бодрят
нам сердце с тобой?
Веселый отряд
идет мостовой.
Куда
  они
    спешат?
Туда, где жизнь свежа!
Про что
    они
      поют?
Про молодость свою!
Подставлены лица
                свежему ветру.
Их годы не тронет
                притихнувший недруг.
Среди распушившихся
                    зеленью веток
к их дням не подкрадется
                        сумрачный не́дуг.
Горят,
    горят
невиданные весны.
Ступайте
    в лагеря
под росы и под сосны.

Несут,
несут
знамена и победы.
В лесу,
в лесу
учиться и обедать.
Чтоб в жизни устроить
весенний порядок
не только на праздничных
стройных парадах.
Чтоб не было больше
богатых и бедных.
Чтоб будни и войны
исчезли бесследно.
Мы будем отвечать
не только на уроках,
заветы Ильича
мы выдвинем широко.
Заветы Ильича
везде, везде на свете
на выросших плечах
поднимем и ответим.
Шумите,
зеленые
свежие ветви.
Идите,
свободные
бодрые дети.
Идите
крепить
и отстаивать сами
знамена,
что вашими
взвиты отцами.
Идите,
спешите
на будущий праздник.
Чтоб не было
розных
и не было разных.

Чтоб в мире
не стало
глухих одиночек.
Иди
догоняй свой отряд,
мой сыночек!
Иди поспешай.
беги догоняй
людские шеренги
живого огня!

1928

ЛЫЖИ

Мороз
румянец выжег
нам
огневой.
Бежим,
бежим на лыжах
мы
от него!
Второй,
четвертый,
пятый, —
конец
горе.
Лети,
лети,
не падай.
Скорей,
скорей!
Закован
в холод воздух, —
ажь дрожь
берет.
В глазах
сверкают звезды.
Вперед,
вперед!
Вокруг
седые ели.

Скользи,
нога.
Как белые
постели,
легли
снега.
И тонкие
березы —
лишь ог-
ля-
нись —
затянуты
в морозы,
поникли
вниз...
На озере
синеет
тяжелый
лед.
Припустимте
сильнее
вперед,
вперед!
Легки следы
от зайцев
и
от лисиц:
ты с ними
состязайся —
несись,
несись!
Чтоб, —
если ветер встречный
в лицо
задул, —
склонился ты
беспечно
на всем
ходу.
На всем
разгоне бега, —

быстр
и хитер, —
схватив
охапку снега,
лицо
натер.
Чтоб крякали
сороки
от тех
отваг,
чтоб месяц
круторогий
скользил
в ветвях.
Чтоб в дальних
или ближних
глухих
краях —
везде мелькала,
лыжник,
нога
твоя.
Чтоб все,
на лыжи вставши
в тугой
черед, —
от младших
и до старших —
неслись
вперед!

1928

ВОЛОКОЛАМСК

Не гудеть
о том
колоколам,
святости
не повестись
отсюда...
Посетило
град Волоколамск
никогда не слыханное
чудо.
Продувай
рубахи,
ветерок:
ну, и понаехало ж
народца!
В городе же —
тысяч четырех
жителей
и то не наберется.
Так тянулись
из далеких сел, —
толпы
только так
бывали густы, —
если
слух
о новой вере
шел

или
мощи открывала
пустынь.
Над кремлем,
осевшим,
земляным,
куполами ржавыми
рыжея,
думая,
что это снова —
к ним,
колокольни
вытянули
шеи.
Нет, не к ним!..
И снова
ржа их ест,
и немеют
языки их
болью...
А под ними
празднует уезд
прочный переход
на многополье.
На седых годов
лихую супесь
навалившись
рычагом плеча,
он темнел,
подслеповато супясь,
лямки
древней жизни
волоча.
Чьи же силы крепкие
смогли,
десять лет
шатая понемножку,
вытянуть
с исподмосковных глин
на века засаженную
сошку?

Слушайте,
ценители природ,
томные
поклонники березок!
Видите:
он движется вперед —
наш веселый,
наш советский воздух!
Слушайте
и вы,
упорный агроном,
Алексей Арсеньевич
Зубрилин, —
годы битв
вам с каждым новым днем
волосы
недаром серебрили!
Годы битв
за крепкий,
свежий быт,
годы рубки старого
под корень.
Вот оно,
трепещет
и рябит
свежестью
взволнованное
море!
Вот он,
вами выжданный ответ:
ни за орден,
вправленный в петлицу,
ни за деньги —
не зажжется
этот свет,
этот смех,
сверкающий на лицах.
«Как пахали
мы сохой,
жили
с корочкой сухой,

с давними
трехполками
выли вровень
с волками.
Нынче
линия не та —
не страшна нам
темнота:
тьма
по полю тычется,
в избах
электричество.
Расскажите
бабам вашим,
дальние
приезжие:
тракторами
землю пашем —
времена
не прежние!
Наши
кони
кровные, —
строй
дороги
ровные:
жаль
хорошего коня
по ухабищам
гонять!»
Посмотрите:
с самых дальних мест
к вам на праздник
ваши гости
едут
поглядеть
на первый
наш уезд,
одержавший
над землей
победу.

Если есть еще
о чем
писать стихи
в стародавней
деревенской сони, —
лишь
о победителе стихий —
человеке
на «фордзоне»!

1927

ИМ

Ваше оружие —
мелинит,
бомбы
белого тѐррора;
ваша вера —
что Кремль осенит
вензель
Кирилла Первого.
Ваши идеи —
хоть день, да мой!
Эх, позвенеть бы
рюмками,
вздев эполеты,
вернуться б «домой»
с песнями
да с триумфами!
Взять бы власть
да пожить бы всласть,
выплыть бы
в мути паники,
вымочить бы
кровищей пасть
высохшей
всей компанийке.
Ваша программа —
оптовый ввоз
духов
и чулков паутинных,

ну и, конечно,
земельный вопрос —
в пользу
господ Скотининых.
Все остальное —
совсем пустяк:
с помощью
фунта и доллара
вмиг оживили б
дворянский костяк
флаги
трехцветного колера.
Слушайте,
вы там,
на белом коне,
вдумайтесь
в это сами:
есть ли
хоть пять человек в стране,
склонных
к вашей программе?
Даже
недавние ваши друзья —
вылощенные
нэпманы —
скажут:
с такими
идти нельзя
лозунгами
нелепыми.
Если ж у вас
и этого нет,
если и эти —
в ропоте,
мой вам совет:
лучше
не пробуйте!
Не помышляйте
шутить с огнем,
мало будет
хорошего!

Раз вас согнули —
и два согнем,
и разотрем
на крошево!
Ваше оружие —
мелинит,
паника
и провокация;
наше —
уверенность,
ленинизм,
грамота,
электрификация.
В трубку скатайте
трехцветный флаг
и не пытайтесь
сравнивать:
волю,
спокойствие,
твердый шаг —
с взрывами
бешенства крайнего!

1928

НА БЕРЕГАХ ЯНЦЗЫ

На берегах Янцзы,
желтой большой реки, —
грохот глухой грозы,
молний тугих клинки.

Будто там, говорят,
всё не так, как у нас:
лица, речь, и наряд,
и другая луна.

Это неверно, нет!
На берегах Янцзы
вот уже много лет
новый шумит язык.

Это — язык полей,
это рабочих спор
против всех королей,
против хлыстов и шпор.

Всюду его поймут —
дальний глухой призыв,
режущий ночи тьму
на берегах Янцзы.

На берегах Янцзы
ночь тепла и сыра.
Прячут в воду концы
серые крейсера.

Что они сторожат
мраком своих бойниц?
Тысячи горожан,
тысячи спящих лиц.

С самых горных высот
в сумрачный океан
кровь и слезы несет
желтый Янцзы-Кианг.

На берегах его,
свет и радость согнав,
поджигатель и вор
взвил боевой сигнал.

Космами рыжих грив
в огненный круг зажав,
рвется за взрывом взрыв,
плещет и жжет пожар.

На берегах Янцзы,
желтой большой реки, —
долгий глухой призыв,
раненой взмах руки.

Будто там, говорят,
всё не так, как у нас:
лица, речь, и наряд,
и другая луна.

Это неверно, нет!
Судьбы у нас одни —
тот же долгий рассвет,
те же грозные дни.

С самых горных высот
ту же кровь в океан —
кровь восставших — несет
желтый Янцзы-Кианг.

1928

КРЕПИМ ОБОРОНУ

Чтобы в избу
не забрался вор, —
каждый
свой укрепляет двор;
чтобы бед
он наделать не смог, —
каждый
ладит к дверям замок,
чтобы
взору худому
ходу не стало
к дому.
Стынет
перед советской межой
взор завистливый
и чужой;
думы его
о налете злом,
руки его
примеряют взлом;
хочет он
домогаться
наших земель
богатства.
В памяти каждой
еще свежа
наша
разрушенная межа,

пóля
невспаханная тишь,
шапки
зажженных снарядами
крыш.
Помнят
однодеревенцы
злые дни
интервенций.
Чтобы от газов
никто не слеп,
чтобы убрать
и посеять хлеб,
чтобы над трубами
плыл дымок, —
в небо врежем
стальной замок;
с ним не бывать
урону,
все
крепим оборону!
Сколько тревожных
ночных забот
стоил республике
каждый завод?!
Сколько смертей
и сколько затрат
вынес каждый
рабочий отряд?!
Станем
на страже входов
фабрик своих
и заводов!
Электростанции,
ярче свети,
рельсопрокатные,
сдвойте пути,
грузчики
и шахтеры,
служащие
конторы, —

каждый следи
на своем посту,
ровно ли силы наши
растут,
не было чтоб
урону,
все
крепим оборону!
Лабораторий
гори заря:
наших ученых
крепчает ряд.
Всюду ли крепок
дружный труд,
цифры балансов,
добыча руд?
Голос свежеет
веский
нашей науки
советской.
Это знамя
и лозунг этот —
нового знанья
единый метод;
накрепко
им объединены
жизнь
и путь
рабочей страны;
нет от него
урону,
им —
крепим оборону!
Не торопитесь,
пан поляк,
побывать
на наших полях;
зря стоит
за плечами
гувернер-
англичанин.

Берегитесь,
почтенный лорд:
из Сибири
подует норд;
вам страны
не взять на испуг:
жарким жерлом
задышит Юг;
отойдите,
покуда
не пробрала
простуда.
Наши мысли —
одна семья!
Наши взоры —
на холм Кремля!
Нас на площадь
не страх согнал,
ждем —
поднимется вверх сигнал.
Все мы, —
только он взвейся! —
станем
красноармейцы.
Нет семьи
дружней
и цельней:
«Красная Армия
всех сильней!»
Красная Армия —
вся страна, —
трубки на взвод
у сердец-гранат!
Пан,
уберите локоть, —
сердце
опасно трогать.
Силу и хлеб
на полях растя,
помните,
миллионы крестьян;

плавя руду,
раздувая мех,
помни,
каждый рабочий цех;
взор ученого
меток,
бодрствуй
в своих кабинетах.
Чтобы никто нас
пугать не смог
бешенством
подворотным, —
в небо повесим
стальной замок —
аэропланов
сотни.
Если они
поплывут, скользя, —
нас
никогда не тронут,
нас
никому подчинить
нельзя:
мы
крепим
оборону!

1928

СИНИЙ МАЙ, ВОЛЬНЫЙ КРАЙ...

Синий май,
вольный край,
песню подымай!
За дверьми
седеет старость, —
шум стервячьих стай.
За дверьми
седеет старость, —
древние лета;
бродят ненависть
и ярость,
ложь и клевета.
За дверьми
темнеет робость, —
тусклая свеча;
тихий посвист,
тайный обыск,
черный день и час.
Синий май,
вольный край,
глаз не отрывай:
по морям
клокочет пена, —
помни,
жди
и знай!
По морям
клокочет пена,
стелются белки;

хочет выщербить
измена
мощь твоей руки.
Горизонт
обложен в тучи,
скользок блеск зарниц;
крепко держит
нашу участь
на губах — горнист.
Мы ж
на каменных ногах
в грубых сапогах, —
всех рабов
заставим вспомнить
о своих врагах.
В темноте
каменоломни,
в гулких недрах шахт, —
всех рабов
заставим вспомнить
наш свободный шаг.
Синий май,
вольный край,
двери открывай!
Мир заботы
и тревоги
песней подымай!

1928

СВЕЖИЙ ВЕТЕР

По Республике Советской
пролетели вести,
будто
        все враги Советов
собралися вместе.
Будто
        вновь их подбивают
сладкими речами
на Союз
          напасть внезапно
лорды-англичане.
Стой, стой,
              конный — пеший,
головы не вешай:
над Республикой
                    Советской
веет ветер свежий!

Будто
        все они забыли,
как их тьма редела,
как они катились к морю —
аж земля гудела.
Будто
        пятки отошли их
от тугой ломоты,
будто
        вновь они мечтают
взять нас в пулеметы.

Стой, стой,
конный — пеший,
головы не вешай:
над Республикой
Советской
веет ветер свежий!

Мы теперь
не так уж бедны
и не так уж слабы,
чтобы
ихним благородьям
попадаться в лапы.
Мы покончили навеки
с бедами лихими;
есть одна
у нас защита —
в Осоавиахиме.
Стой, стой,
конный — пеший,
головы не вешай:
над Республикой
Советской
веет ветер свежий!

Чтобы
лорду и барону
путь казался узок, —
станем все на оборону
нашего Союза.
Чтоб
буржуйскую корону
ветром зашатало, —
выйдем все на оборону
против капитала.
Стой, стой,
конный — пеший,
головы не вешай:
над Республикой
Советской
веет ветер свежий!

Веет ветер, завевает
по траве росистой, —
веет ветер, задевает
черного фашиста.
Ходит
туча градовая,
забивает в щели.
Дует ветер, выдувает
белых лордов челядь.
Стой, стой,
конный — пеший,
головы не вешай:
над Республикой
Советской
веет ветер свежий!

Вверх,
вверх,
бомбовозы,
все —
в небо
разом,
чтобы
наш советский воздух
не глушило газом.
Вверх,
вверх,
круче,
круче,
поднимайтесь выше,
чтобы
враг из-за тучи
не слетел на крыши.
Стой, стой,
конный — пеший,
головы не вешай:
над Республикой
Советской
веет ветер свежий!

1928

АНГЛИЙСКИМ ПИОНЕРАМ

Английские дети,
смотрите на нас
внимательнее
и шире:
мы —
самая молодая страна
в стареющем
сумрачном мире.
Нам
десять
исполнится
в этот Октябрь,
вам —
больше
тоже
немногим;
мы, юности обруч
по жизни катя,
широкой
ищем дороги.
Подумайте только:
если б ваш рост
по самые
детские плечи
дыханьями пушек
и вспышками гроз
был и́з года в год
отмечен?

И если бы
юности вашей игра
была
беспокойной такою,
везде натыкаясь
на сотни преград,
подставленных
злою рукою?
Вы скажете:
что же,
мы все ж бы росли,
веселые игры
покинув,
и тем неожиданней
был бы разлив,
чем дольше б
крепили плотину.
Вот —
смелый ответ
на веселый вопрос.
Так —
сотням преград
не удастся
остановить
каждодневный
рост
рабочего
государства.
Мы строим
и ладим его
на гроши,
во всем
у себя урывая;
у нас еще мало
турбин
и машин,
шоссе,
и мостов,
и трамваев.
Но и без мостов,
но и без шоссе

с Советской Республикой,
с нею,
за нею
и к ней
устремляются все,
кто Хиксова сердца
честнее.
Смотрите:
они перед вами —
поля
и новых запашек
посевы, —
они колосятся
и без короля
и зреют
без королевы.
Вот трубы заводов
дымят
на ветру,
поднявшись
высоко и гордо,
и ими владеют
упорство и труд
без капиталистов
и лордов.
И дальше,
у сумрачных угольных шахт,
у выстроенных
электростанций,
свободен и крепок
уверенный шаг
страны
рабоче-крестьянской;
свободен и крепок,
уверен и прост, —
смотрите
и думайте сами.
И смелый ответ
на веселый вопрос,
вернувшись,
решите с отцами.

Чтоб
не под истерический,
яростный визг
и не как
брошенный вызов, —
мы ездить могли бы
друг к другу
без виз
и без выдающих
визы.

1927

КАЖДЫЙ РАЗ,
КАК СМОТРИШЬ НА ВОДУ...

Каждый раз,
как мы смотрели на воду,
небо призывало:
убежим!
И тянуло
в дальнюю Канаду,
за незнаемые
рубежи.
Мы хранили
в нашем честном детстве
облик смутный
вольных Аризон,
и качался —
головой индейца,
весь в павлиньих перьях —
горизонт.
Вот и мы
повыросли
и стали
для детей
страны иной,
призывающей
из дали,
синей,
романтической страной.
Каждый раз,
как взглянут они на воду

на своем
туманном берегу —
не мечты,
а явственную правду,
видеть правду —
к нам они бегут.
Дорогие леди
и милорды,
я хотел спросить вас
вот о чем:
«Так же ли
уверенны и тверды
ваши чувства,
разум
и зрачок?
Каждый раз,
как вы глядите на воду,
так же ль вы упорны,
как они?
Прегражденный путь
к олеонафту
так же ль
вас безудержно манит?
Если ж нет, —
то не грозите сталью:
для детей
страны иной
мы теперь
за синей далью
стали
романтической страной»

1928

БАЛЛАДА О ЖЕЛТОМ ТОМАСЕ

Слушайте, взрослые,
знайте, дети,
эта баллада
звенит сама:
жил на этом
на белом свете —
желтый Томас,
желтый Фома.
Желт,
как яичница,
как подсолнух, —
цвет этот
в памяти,
друг, отметь.
Даже в глазах его,
желто-бессонных,
тускло светилась
желтая медь.
Желтой прославлен
своей окраской, —
о, не забудьте о ней,
молю, —
он от кровной
массы горняцкой
липнул к золоту
и королю.
И — оттого ли,
что золото пачкает

не только,
как уголь,
поверхность тел, —
в годы великой
английской стачки
Томас весь дó сердца
прожелтел.
Стал его шаг
ползучей и мельче:
от приседания
пятки болят, —
а у рабочих —
приливом желчи —
видом его
омрачался взгляд.
Шкодливый язык,
трусливые речи,
двуличный совет
в страде боевой, —
а у рабочих
глаза, как свечи,
горят,
желтеют
при виде его.
Слушайте, взрослые,
знайте, дети,
этой баллады
крепки слова:
черен
на этом
на белом свете
угольной шахты
темный провал.
Томас прежде
над ним работал,
песни пел
и горя не знал,
пока от рабочего
жаркого пота
его
не высушила желтизна.

А чтобы снова
стал он смуглым,
над ним
углекопы
окрестных мест
жирным
нортумберлендским
углем
поставили
четкий
черный крест.
И плачут,
во сне просыпаясь,
дети,
когда зажелтеет
ночная тьма,
и их виденье
тускло осветит
желтый Томас,
желтый Фома!

1928

ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ

На Василии Кесарийском —
орлы с коронами.
Первый дом —
украшает славянская вязь...
Долго ль быть нам еще
стариной покоренными,
тупиками сознаний
в былое кривясь?
Я хожу
и на мелочи эти
досадую,
я дивлюсь
на расщепы орлиных голов, —
неужели же
и в годовщину десятую
не стряхнет их
с карнизов и с куполов?!
Впрочем —
это остатки забытого прошлого,
неопасные,
как прошлогодний снег;
ледяное,
в осколки разбитое крошево,
с тротуаров
сметаемое по весне.
Нет!
Опять на меня
наплывают разъяренно

и кольцо,
и печать,
и бумага,
и роспись;
родовитая рожа
тупого боярина
в стародавних зазубринах
дедовской оспы.
А за ним,
за печатью,
кольцом,
за кулисами, —
добр и ласков
кабальный хозяин покамест, —
приказными ярыгами
да стрекулистами
выгнусавливается
елейный акафист.
И идут крестным ходом,
с хоругвями рдяными,
замирая
от многоочитого счастья,
в храм искусств
омываться его иорданями
и пречистому делу его
причащаться.
А глухому —
утрут скупую слезу его, —
ведь из песни слова
не выкинешь:
жалко!
И, со дна поднимаясь,
в Орехово-Зуеве
об уехавшем князе
тоскует «Русалка».
Я с годами теперь
вразумленней
и тише стал...
Я сюжета ищу
попрочней
да пошире.

Разве ж это не блажь,
не прямое мальчишество:
пред плакатом
прохожих сбирать,
дебоширя?!
Я мотнул головой.
Что здесь явь?
Что из стари?
Так мечтой увлекаться!..
Ведь это же — пытка!
Разметайте
нам путь бородою,
бояре, —
это снова и снова —
простая агитка!

1927

БОЕВАЯ ТРЕВОГА

Хватит ссор
и скандалов семейных!
Строки,
стройтесь
крепче и резче:
вновь размечтался
о бывших имениях
с бывшим упрямством
бывший помещик!
И — пока мы здесь
разводим споры,
норовя
друг другу
въехать в рыло,
начищаются
малиновые шпоры
верноподданных
сторонников Кирилла.
Вынимают
горностаи,
молью траченные,
над конями
вырастают
раскоряченные.
Критики!
Скройтесь по сумрачным норам.
Ваше перо —
чьим вкусам радело?

Или вам
довоенных норм
хочется
до этих пределов?!
Эти ведь тоже —
до самых хлястиков
влюблены
в творения классиков.
Эти придут
и начнут размазывать
идеологию
Карамазова.
Надоело, мол,
читать
стих канальевый.
Наши —
вашим не чета:
восстанавливай!
Восстанавливай
стиль ампир.
К черту всех,
кто дружил с Советами!
Что же?
Пусть хоть и «царь-вампир»,
да зато
и венки с сонетами?!
Как тогда
отнесутся крестьяне:
поощрительно
или разъяренно
к вами излюбленной
леди Татьяне
Лариной?
Станут
с ними нянькаться
генералы-
анненковцы?
Грянут:
«Прячьтесь по домам,
с нами
бог и атаман!

Мы решили
врубиться
из-за рубежа.
Нет войны
без убийства
и без грабежа!»
Кто
тогда останется?
Леф
и напостовцы?
Лежнев же
потянется
снова
на толстовство?
Нет,
не найти вам
другого ритма,
кроме того,
что режет, как бритва.
Не зазвучит вам
другая песня, —
эта пойся
и в уши бейся:
«Пролетарий,
не зевай,
всюду
белых нагоняй,
где б они
ни скрылися,
выметай
с-под клироса!
Злую нечисть
доконав,
жизнь крепи
спокойную,
чтоб не пели
дьяконá
нам заупокойную!»
. . . .

1927

СВЕТЛЫЕ БРОВИ

Шлем
    островерхий,
штык
    боевой,
нынче
    проверка
пути
    твоего.
Четок ли
    мускул,
светел ли
    взгляд,
бьется ли
    с музыкой
сердце
    в лад?
Там
    у союзного
ру-
    бежа
низко
    и грузно
тучи
    лежат.
В их ли
    сырой
и промозглой
    тьме
скроется
    солнце
от наших
    семей?

Солнце
свободы,
везде
алей,
взрывшее
воды
снежных
полей.
Света
и воли
блеск
над детьми,
мы
не позволим
тебя
затмить.
Локоть
к локтю
на свежем
ветру,
в громе
и в рокоте
бурных
труб.
Так,
как свежеет
под ветром
трава,
сразу
движенье
марш
оторвал.
Четок
и ровен
стотысчий
гул,
светлые
брови
на каждом
шагу.

Сердце,
засмейся —
нету
беды:
красно-
армейцев
стройны
ряды.
Словно
в озерах
с синей
водой,
светит
во взорах
день
молодой.
Их —
не приказом
в атаку
слать, —
воля
и разум
в их шаг
вросла!
Этих
не трогайте
в вольном
ветру,
в громе
и в рокоте
блещущих
труб.
Эти
не дрогнут
и
не отойдут,
светлые
брови
в каждом
ряду!

1928

ТУМАН, ТУМАН НАД ЛОНДОНОМ...

Туман, туман над Лондоном,
туман над Гайд-парком...
Довольно верноподданным
коптеть по кочегаркам!

Пойдем-ка полюбуемся
без гордости и лести,
как тихи стали улицы
в старинном королевстве.

Долой, долой дурачества,
долой столетний навык!
Мы будем драться начисто
с толпой контор и лавок.

Пускай сирены выстонут
истину простую,
одну простую истину:
рабочие бастуют!

Наш лозунг прям и короток:
пускай пустеет Сити, —
мы сами сердце города
заполним и насытим.

А если мы не выдержим,
на шаг отступим если, —
ладонью лоб нам вытерши,
помогут из Ньюкестля.

А если залпы вырычав,
штыки на нас с разгону, —
на выручу, на выручу
ребята из Глазгоу!

Туман, туман над Лондоном,
туман над Гайд-парком...
Довольно верноподданным
коптиться кочегаркам!

1926—1927

ВСТАВАЙ, КИТАЙ!

Из ночи
тысячелетней выйдя,
гляди,
как мертва этих лиц белизна.
Европу
в ее настоящем виде
запомни ближе,
тверже узнай!
Ты больше не хочешь
чужой опеки,
конец
терпенью кули и рикш.
Шанхай,
Ханькоу,
Тяньцзинь
и Пекин
в один громовый
сгрудились крик:
«Тревоги ветер,
взлетай,
вставай,
рабочий Китай!
Ряды восставших
считай,
вставай,
Китай!»

И вот,
разогнавшись в рекордном рейсе,
по радио
грозный приказ трубя,
влетая на рейд,
за крейсером крейсер
бинокли орудий
вонзает в тебя.
Пади на колени!
В комок разбейся!
Нахмурилась грозно
банда ворья.
В ботинке белом
нога европейца
вступает на берег,
расправу творя.
Тревоги ветер,
взлетай,
ряды убитых
считай!
Заря свободы,
светай,
вставай,
Китай!

Сжимает горло
гнева икота,
когда в азарте,
детей не щадя,
с колена хлещет
морская пехота
по мирным улицам
и площадям.
Когда в угоду
убийцам матерым,
которыми
полузадушен мир,
английским велено
волонтерам
из спин рабочих
устраивать тир.

Тревоги ветер,
взлетай,
вставай,
рабочий Китай!
С земли
насилье сметай,
вставай,
Китай!

Выстрелы эти
нам знакомы:
помним и мы
интервенции дни.
Вот почему —
у нас фабзавкомы
красноармейской братве
сродни.
Вот почему —
незабытой болью
полнится сердце
рабочих масс.
Вот почему —
подружившимся с волею —
хочется песню запеть
про вас.
Тревоги ветер,
взлетай,
вставай,
рабочий Китай!
Заря свободы,
светай,
вставай,
Китай!

Мы не боимся
этих винтовок,
кончились
ихней власти века.
Мы их зажмем
в кольцо забастовок,

выдавим в море
с материка.
Им не кричать,
издеваясь: «Цзоуба» [1],
им не толкаться
прикладом в грудь.
Ихних дредноутов
белые трубы
в море сумеем
мы повернуть!
Тревоги ветер,
взлетай,
рабочих мощь
испытай!
Заря свободы,
светай,
вставай,
Китай!

1926—1927

[1] Прочь! *(кит.)*

ОКТЯБРЬ

1

Осенний ветер, свисти!
Нам счеты пора свести.

Не счет
вести
покойникам,
не оды
дням
писать, —
опять
за подоконником
темнятся
небеса.
Ты видишься
не издали,
но в лоб,
в упор,
в лицо
глядишь,
суров и пристален,
тревогой
и свинцом.
Из этих туч
взлохмаченных,
как
вздыбленный колтун,

ты вновь несешь
подхваченный
горелый дым
ко рту.
Ты — вон:
с глазами впалыми,
закутанный
в посконь,
с разобранными
шпалами,
с тифозною
тоской.
«За правду —
до последнего!» —
от впившихся
клещом
Деникина,
Каледина,
и
сколько их еще?!

2

Но при самой хмурой погоде
он не сник, он пел при походе.

И снова
учишь тужиться,
подтягивать
ремень,
пока
в глазах не вскружатся
проселки
деревень.
Ты учишь
жаться
горсткою
к лесам,
к плетням,
к углам,

чтоб
скудной продразверсткою
страна
прожить смогла.
Ты вновь
за сырью тяжкою
несешь
в мое окно
с распахнутою
шашкою
летящего
Махно.
Потом
над мглой обманчивой,
над
никлою травой
качаешь
атаманщины
разбитой
головой,

3

Один был защитой,
один был опорой
от бьющего плетью,
от рвущего шпорой!

Осенний
синий день,
сияй,
свети
со ста
дорог,
стократным
интервенциям
указывай
порог.
Вдаль,
на приволье выселясь,

расти
          и вглубь
                    и вширь,
шатай
          устои виселиц
и стены
          белых бирж.
И дальше —
                    шаг свой вычекань
в походные
                    следы:
над
     выработкой ситчика,
над
     выплавкой руды.
И все это
               уместится —
и холод
          и тепло —
в одном-
          едином месяце,
как в почке —
                    цвет и плод.

4

Волхов в древности был волшебным;
мы — с турбиной к нему, со щебнем.

Не счет
          вести
                    покойникам,
не груз
          времен
                    нести, —
опять
     за подоконником
осенние
          листы.
Над
     вражескою сплетнею,

над
злобною слезой
стоим
десятилетнею
суровою
грозой.
Над
горечью последнею,
над
шахтою сырой
горим
десятилетнею
негаснущей
зарей.
И как бы
тяжки ни были
наш груз,
наш рост,
наш спор, —
в них нету
капли прибыли
для
блеска белых шпор.
Долой,
мечтанья вздорные,
развейтесь
чередой!
Лети,
огонь,
над черною
фашистскою
ордой!
Скупою
времени тратою
прядется
дней полотно:
сегодня
Октябрь
Десятый
шумит
и бьется в окно;

повсюду
растут
ребята,
под шорох
ремней
и пил,
которым
Октябрь
Десятый
сегодня
уже наступил.

1927

* * *

Глаза насмешливые
сужая,
сидишь и смотришь,
совсем чужая,
совсем чужая,
совсем другая,
мне не родная,
не дорогая;
с иною жизнью,
с другой,
иною
судьбой
и песней
за спиною;
чужие фразы,
чужие взоры,
чужие дни
и разговоры;
чужие губы,
чужие плечи
сроднить и сблизить
нельзя и нечем;
чужие вспышки
внезапной спеси,

чужие в сердце
обрывки песен.
Сиди ж и слушай,
глаза сужая,
совсем далекая,
совсем чужая,
совсем иная,
совсем другая,
мне не родная,
не дорогая.

1928

* * *

Летят недели кувырком,
и дни порожняком.
Встречаемся по сумеркам
украдкой да тайком.
Встречаемся — не ссоримся,
расстанемся — не ждем
по дальним нашим горницам,
под сереньким дождем.
Не видимся по месяцам:
ни дружбы, ни родни.
Столетия поместятся
в пустые эти дни.
А встретимся — все сызнова:
с чего опять начать?
Скорее, дождик, сбрызгивай
пустых ночей печаль.
Все тихонько да простенько:
влеченье двух полов
да разговоры родственников,
высмеивающих зло.
Как звери когти стачивают
о сучьев пустяки, —
последних сил остачею
скребу тебе стихи.
В пустой денек холодненький,
заежившись свежо,
ты, может, скажешь: «Родненький», —
оставшись мне чужой.

И это странно весело
и страшно хорошо —
касаться только песнею
твоих плечей и щек.
И ты мне сердце выстели
одним словцом простым,
чтоб билось только издали
на складках злых простынь;
чтоб день, как в винограднике,
был полон и тяжел;
чтоб ты была мне на́веки
далекой и чужой!

1928

* * *

Слушай, Анни,
твое дыханье,
трепет рук,
и изгибы губ,
и волос твоих
колыханье
я, как давний сон,
берегу.
Эти лица,
и те,
и те, —
им
хоть сто,
хоть тысячу лет скости, —
не сравнять с твоим
в простоте,
в прямоте
и в суровой детскости.
Можно
астрой в глазах пестреться,
можно
ветром в росе свистеть,
но в каких
человеческих средствах
быть собой
всегда и везде?!
Ты проходишь
горя и беды,

как проходит игла
сквозь ткань...
Как выдерживаешь
ты это?
Как слеза у тебя
редка?!
Не в любовном
пылу и тряске
я приметил
крепость твою.
Я узнал,
что ни пыль,
ни дрязги
к этой коже
не пристают.
И когда
я ломлю твои руки
и клоню
твоей воли стан,
ты кричишь,
как кричат во вьюге
лебедя,
от стаи отстав...

1928

* * *

У меня
хорошая жена,
у тебя
отличные ребята.
Что ж велит мне
мерить саженя
по пустыне
сонного Арбата?
Никаких
сомнений и надежд,
никакой
романтики слезливой.
Сердце!
Не вздувайся и не тешь
свежестью
весеннего разлива.
Никаких
мечтаний и иллюзий,
что ни делай,
как ни затанцуй,
как бильярдный шар
к зеленой лузе,
ты летишь
к провалу и концу!
Нет,
не за тебя одну мне страшно, —
путь-дорога
у тебя своя;

с черной ночью·
в схватке рукопашной
я не за тебя одну
стоял.
И не от тебя одной,
я знаю,
седь
уже сжимает мне виски;
но в тебе
вся боль моя сквозная
отразилась
грубо,
по-мужски.
Боль
за всю за нашу
несвободу,
за нелегкость жизни,
ветхость стен,
что былого поколенья
одурь
жизнь заставит
простоять в хвосте.
О любви
теперь уже не пишут,
просто стыдно стало
повторять.
Но — смотри:
как страшно близко дышит
над Кремлем
московская заря.

1928

* * *

День сегодня
такой простой,
каких не сыщешь
и — в сто.
Синь сегодня
так далека,
будто бы
встал великан.
Это ты,
охлажденье мое,
молча встаешь,
не поешь,
высветляя
свое лезвие,
свой
отпотевший нож.
И от таких
безразличных глаз —
свет угасает
враз.
Все затянулось
и зажило,
и мне —
не тяжело.
Все заровнялось
и заросло:
не двигать ни рук,
ни слов.

Бульварный калека
трясет головой
(тоже —
вопрос половой).
Нынче
такой бесприметный день,
что горько
глядеть на людей.
Даже трамваи
бегут от меня,
зло и протяжно
звеня.
Даже моторы —
друзья для других —
фыркают,
как враги...
Что же,
лучше ли этот —
тех
дней
забот и помех,
дней волнений
и дней тревог,
дней,
когда стыть
я не мог?
Дней,
в которые,
все озаря,
злая
вставала заря?
Дней,
в которые
в шумном ветру
шли
влюбленность и труд?!

1928

* * *

Оставьте.
баптисты,
скучную
проповедь, —
вам
этих дней
все равно
не отпробовать.
Тот —
не уныл,
кто горечью
хвалится.
Радость
с луны
все равно
не свалится.
Молотом,
скальпелем,
клапаном,
книгою —
сердце
по каплям
волнение
двигает.
Сердце мое,
волнуйся
и стукай!

Жизнь —
не очень
понятная
штука.
Сердце мое,
тревожься
и рвись
вниз,
в глубину,
и — вверх,
ввысь!
Свет твой
вечный —
с открытой
душой —
первой
встречной,
далекой,
чужой.
Шире
и выше
взлета
задор,
пока
от вспышек
не сгинет
мотор,
пока
не сгаснет
горенья
руда,
пока
от сказки
не станет
следа!

1928

* * *

Не будет стона сирого,
ни вопля, ни слезы;
идите, дни, боксировать
на рифм моих призы.

Бегите, физкультурники,
купать в ветрах лицо;
крутитесь, дни, на турнике
летучим колесом.

А ты, любовь, не высыпься,
не грянься комом вниз,
на вытянутых бицепсах
бодрее подтянись, —

Чтоб, зубом заскрежещенный,
унынья скрылся лик;
чтоб все на свете женщины,
как звезды, зацвели;

Чтоб каждый взял на выдержку
безмолвья сон дурной;
чтоб каждый пел навытяжку
натянутой струной;

Чтоб шла навстречь весна ему
тревожно и свежо;
чтоб не было незнаемой
и не было чужой.

1928

РАБОТА НАД СТИХОМ

1929

ДЫХАНЬЕ ЭПОХИ

У Пушкина чаши,
у Гаршина вздохи
отметят сейчас же
дыханье эпохи.

А чем мы отметим
и что мы оставим
на нынешнем свете
на нашей заставе?

Как время играет
и песня кипит как,
пока меж буграми
ныряет кибитка.

И, снизясь к подножью
по ближним и дальним,
колотится дрожью
и звоном кандальным...

Неужто ж отныне
разметана песня
на хрипы блатные,
на говор хипесниц?

И жизнь такова,
что — осколками зарев
нам петь-торговать
на всесветном базаре?

Ей будто не до́дано
славы и власти,
и тайно идет она,
злобясь и ластясь.

С построечной пыли
я крикну на это:
«Мы все-таки были
до черта поэты!»

Пусть смазанной тушью
на строчечном сгибе
нас ждет равнодушья
холодная гибель.

Но наши стихи
рокотали, как трубы,
с ветрами стихий
перепутавши губы.

Пусть гаснущий Гаршин
и ветреный Пушкин
развеяны в марши,
расструганы в стружки.

Но нашей строкой
до последнего вздоха
была беспокойна
живая эпоха.

И людям веков
открывая страницы,
она — далеко —
как цветок сохранится.

Тасуй же восторг
и унынье тасуй же,
чтоб был между строк
он прочнее засушен.

Чтоб радостью чаши
и тяжестью вздоха
в лицо им сейчас же
дохнула эпоха.

И запах — душа, —
еле слышный и сладкий,
провеял, дыша,
от забытой закладки!

1928

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕЛЬЕТОН

Довольно
в годы бурные
глухими
притворяться:
идут
литературные
на нас
охотнорядцы.
Одною скобкой
стрижены,
сбивая
толпы с толка,
идут они
на хижины
Леф-поселка.
Распаренные
злобою,
на всех,
кто смел родиться, —
грудятся
твердолобые
защитники
традиций.
Смотрите,
как из плоского
статьи-кастета —
к громам
душа Полонского

и к молниям
воздета.
Следите,
как у Лежнева, —
на что уж
робок, —
тусклеет
злее прежнего
зажатый обух.
Как с миной
достохвальною,
поднявши еле-еле,
дубину
социальную
влачит Шенгели.
Коснись,
коснись багром щеки,
взбивай
на пух перины.
Мы знаем вас,
погромщики,
ваш вид
и вой звериный.
Вы будто
навек стаяли,
приверженники Линча,
но вновь,
собравшись стаями,
на нас идете
нынче.
Вы будто
были кончены —
тупое племя,
защитники
казенщины,
швейцары
академий.
Вы словно
в даль Коперника
ушли
и скрылись,

но вновь
скулите скверненько
с-под ваших крылец.
В веках
подъемлют зов они,
им нет урона.
Но мы
организованы.
Мы —
самооборона!
Чем злее вы,
тем лучше нам,
тем крепче
с каждым годом,
привыкшим
и приученным
к дубинам
и обходам.
Чем диче
рев и высвисты,
чем гуще
прет погромщик,
тем
песню сердца вызвездим
острей
и громче!

1927

КРАСНАЯ ПРИСЯГА

Выходи, товарищ,
 из Красных казарм.
Враг еще коварен,
 не бросил азарт.
Выходи и стройся
 на ровном плацу.
Красному геройству
 победы к лицу.
Сколько лет минуло —
 большая пора!
Смена караула,
 шагай на парад.
Время грозных былей,
 сердца весели:
мы врагов разбили
 и выбросили.
Сыты наши кони,
 и крепок дом.
Нас никто не гонит —
 мы сами идем.
Крепким, ровным шагом,
 с веселым лицом.
Красную присягу
 на сердце несем!
Пламенней и проще
 греми, наш клич.
Выйдем мы на площадь,
 где спит Ильич.

Выдержать без страха
    атаку тьмы
над родимым прахом
    клянемся мы.
Конница проходит
    вокруг на рысях.
Нет на свете крепче
    и тверже присяг.
Выше, самолеты,
    в голубую гладь.
Нет на свете глубже
    и тверже клятв.
Чисты наши дали,
    и ветер свеж.
Мы врагу не сдали
    своих надежд.
Мы врагу не сдали
    сквозь гром и дым,
что отвоевали —
    вовек не сдадим.
Сыты наши кони,
    и крепок дом.
Нас никто не гонит —
    мы сами идем.
Твердым, ровным шагом,
    с веселым лицом.
Красную присягу
    на сердце несем!

1928

СПАРТАКИАДА

Все,
кто не слеп
и не глух,
и
не
стар,
все,
кому радость
и молодость друг, —
все
на
старт.
Все,
кому ложь
не закрыла глаза,
чей
остр
глаз, —
миру сегодня
должны
показать,
как
свеж
класс.
Слушай команду,
слушай меня:

вдаль
смо-
три,
страны другие
перегоняй,
раз,
два,
три!
В нашем ряду
никто не уныл —
мчись,
рвись,
правь!
В ногу,
гимнасты и прыгуны,
вверх,
вдаль,
вплавь,
чтобы под небом,
над землей,
над
ре-
кой
был поставлен
и закреплен
наш
ре-
корд.
Рокот мячей,
посвист ракет,
в синь
блеск
брызг.
Сила и свежесть
в рабочей руке —
вот
наш
приз.
Слушай команду,
слушай меня:

нам
старт
дан —
опережай,
перегоняй
Ам-
стер-
дам!

1928

МЫ СПОРТСМЕНЫ

Воздух в городе
затхл и сперт,
наша ж молодость —
первый сорт:
нас закаляет и лечит
спорт.
Ветру мчащемуся
родня,
подрастает
день ото дня,
свеж и радостен,
наш молодняк.
Наших законов
сводка проста:
тело — конус —
на точку поставь,
шире плечи
и тоньше стан.
Утром — бодрым
проснись, проснись,
руки к бедрам,
не жмурь ресниц,
на носках
опускайся вниз.
Руки кверху,
глубокий вздох,
сил проверка
и сна итог,
чтоб по жилам —
горячий ток.

Свеж, как роза,
упруг, как репей,
без склероза —
не кури и не пей.
Чтобы не было
сладу с ней,
с жизнью ловкой
и радостной.
Чтобы,
жилист, гибок и гол,
вился в теннис
и в волейбол.
Чтобы полнились
славою
бег и гребля
и плаванье.
Чтоб при каждом
фабричном котле
встал выносливый
легкоатлет.
Чтоб дискоболы
ярые
были в любой
канцелярии.
Кто не болен
и кто не стар,
принимайте
дружнее старт;
круче бицепсы, —
долже стаж,
разом высыпься
в синь и влажь.
Наша молодость —
первый сорт,
спицы в трепете,
руль на борт:
нас закаляет и лечит
спорт!

1929

18 МАРТА

Еще не утро.
Париж недвижен...
Весенний ветер
над Парижем.
Под небесами
обмылок лунный
такой же самый,
что в дни Коммуны.
Еще не свержен
сумрак сонный,
храпят консьержи,
и спят гарсоны.
Лишь свежий ветер,
поднявшись рано,
времен
зализывает
раны.
Весенний ветер
взывает сипло:
«Она не сгибла,
она не сгибла.
Такое утро
на сны не тратьте,
откройте ставни,
сыны и братья!
Рассвет Коммуны,
размерцайся
огнем ответным
по версальцам!

По их протянутой
руке холеной
ударь
Вандомскою колонной!»
Весенний ветер,
свистя о мести,
летит
над крышами
предместий.
И тени,
светом
окрасясь алым,
по пригородным
бегут
кварталам.
«Неужто в утро
таких событий
вы так же мирно
и крепко спите?
Сорвите головы
с подушек:
он близок —
грохот
версальских пушек.
Пора услышать
их перекаты,
пора Парижу —
на баррикады!
Вы позабыли,
как на колена
они поставили
Варлена?
Вы позабыли
шеренги прочих
без счету
падавших
рабочих?
Такое утро
на сны не тратьте,
вставайте разом,
сыны и братья!

Оно —
над вашими
глухими снами
из рук подхваченное
знамя!»
Рассветный сумрак
весною дышит,
и, опоясан
зарей до крыш,
Коммуны знамя
все выше,
выше
глазами ищет
во сне Париж.

1929

ТРИ АННЫ

Раньше
воспевали ррроковую
женщину
как таковую,
и от той привычки
вековой
плохо приходилось
«таковой».
Ревностью
к романтике пылая,
классиков преданья
сохранив,
всем,
кого пленяет
жизнь былая,
в женский день
расскажем мы про них.
Женщина у предков
трактовалась странно:
как бы
ни была она тиха, —
в гроб вогнав любовью,
Донну Анну
полагалось
воспевать в стихах.
Пяльцы,
кружева
да вышиванье,

бледность щек
и томность глаз,
воплотясь
в блудливом Дон Жуане,
возносил в ней
феодальный класс.
А когда она,
поверив слепо,
принимала
этих сказок вздор,
приходил
карать ее из склепа
оскорбленный в чувствах
Командор.
В прах распался
феодальный замок,
тонких шпаг
замглился ржавый шлак,
но от прежних
обреченных самок
женщина
далеко не ушла.
Тех же чувств
наигранных горенье,
то же
«Дона» Вронского лицо,
и другая Анна,
по фамилии Каренина,
падает
под колесо.
С Командором вровень,
схож по росту,
охраняя
давних дней устой, —
феодалов
каменную поступь
через труп ее
пронес Толстой.
И хоть брови —
небо подпирали:
«Мне отмщение, и аз воздам», —

вывод был
из графовой морали:
женщине
нужна узда.
Наше небо
засветилось выше,
Дон Жуанов
страсти сократив,
но еще не всеми
четко слышен
наших песен
явственный мотив.
Жизнь —
литературы
многогранней:
жизнь не смотрит
прошлому в глаза,
и о третьей,
настоящей Анне
нам еще
никто не рассказал.
Не во взорах,
от влюбленья вялых,
жизни и борьбы
не вдалеке, —
тысячи
машинных ровных прялок
кружатся
в большой ее руке.
Десять лет
у нас уже жива она,
ей не страшен
древних басен гнет:
подпусти к ней только
Дон Жуана, —
отлетит —
лишь бровью шевельнет.
К диспутам публичным
не готовясь,
без особых
в том учителей, —

покажись
какой-нибудь толстовец —
с бороды
утрет ему елей.
Скажете:
«Да это ведь агитка,
ждут живого
человека все».
Что ж,
портрет мой
не на рифмах выткан,—
ткал его
Ивано-Вознесенск.
И об нашей
Анне Куликовой
разговор немолчный —
на станках;
вон —
ее портрет опубликован
в номере десятом
«Огонька».
Не грозитесь,
«каменные гости»,
отойдите
в темных склепов тень.
Ваши Анны —
тлеют на погосте,
наши —
ткут и вяжут
новый день.

1927

МОЛОДОСТЬ ЛЕНИНА

Далека симбирская глушь,
тихо времени колесо...
В синих отблесках вешних луж
обывательский длинен сон.

По кладовым слежалый хлам,
древних кресел скрипучий ряд,
керосиновых тусклых ламп
узаконенная заря.

И под этой скупой зарей
к материнской груди приник
лоб ребенка — еще сырой,
и младенческий первый крик.

Узко-узко бежит стопа,
начиная жизни главу;
будут ждать гостей и попа
и Владимиром назовут.

Будут мыши скрести в углу,
будут шкапов звенеть ключи,
чьи-то руки вести иглу,
обмывать, ласкать и учить.

И начнет — мошкарой в глаза —
этот мир мелочей зудеть,
и уйдет из семьи в Казань
начинающий жизнь студент.

Но земля рванет из-под ног,
и у времени колеса,
твердо в жизни веря в одно,
станет старший брат Александр.

По какой ты тропе пойдешь,
на какой попадешь семестр,
о, страны моей молодежь,
отойдя от своих семейств?!

Далека симбирская глушь,
тихо времени колесо...
В синих отблесках вешних луж
обывательский длится сон.

Он, — пока я кончаю стих, —
на портрете встав, на стене,
продолжая меня вести,
усмехается молодо мне.

И никак не уйти от глаз,
просквозивших через века,
стерегущих и ждущих в нас
взгляд ответный — большевика.

1929

ОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Революцию сравнивают —
кто с любимой,
кто с вихрем,
кто с тканью,
цветущей пестро,
кто с валом девятым,
кто с бурей,
кто с дымом,
плывущим
над взметывающимся
костром.
Костер отгорит,
и любимая бросит,
умолкнут валы,
и выцветет ткань,
и будет волос
одинокая проседь,
как пепел, горька
и, как дымы, едка.
Октябрьская ж песня,
без фальши,
без лепи,
таких
не выдерживает сравнений.
Года
не идут вспять,
с годами
нельзя спать.

Года
не горят в дым,
нельзя
угасать им.
Годов
не сгасить пыл,
в них вечен
запас сил.
Ревели враги:
куда уцелеть им,
вшивым,
безграмотным,
пьяным
да нищим, —
а мы обернулись
десятилетьем,
нам — торжеством,
а им — кладбищем.
В притупленной злобе,
в звериной обиде
их тени бледнеют,
оружие ржавится,
но даже они
понимают и видят:
она продолжается.
Сердцам миллионов
с громадою биться:
кто лень отбивает,
кто с грязью сражается;
делам Октября
ни на миг не забыться:
они продолжаются.
На плечи навьючив
тяжелые вьюки
госпланов,
госзаймов,
заданий
и дел,
идем,
как в семнадцатом
шли во вьюге,

века подпирая
тяжестью тел.
Идем
и не верим,
что где-то воздастся:
за путь нам награда —
тревоги года;
и новое в мире
растим государство,
не виданное
нигде
никогда.
И дальние взоры
и давние страны,
усилие наше
влечет и томит;
их нашими
ломит тяжелыми ранами
и радует
нашими радостями.
И мы,
замощая ухабы и ямы,
подмог не торопим,
не требуем жалости;
в одно призываем
мы верить упрямо:
она продолжается.
Ко дну оседает
тревоги осадок.
Расти,
наша сила,
на́ день со́ дня,
чтоб нынешний
первый
сочтенный десяток
окреп и возрос
и считался на сотни.
Года
не идут вспять,
с годами
нельзя спать.

Года
не горят в дым,
нельзя
угасать им.
Годов
не сгасить пыл,
в них вечен
запас сил.
Идти заодно
с годами всегда,
где руки не слабнут,
глаза не смежаются.
И знать,
и помнить,
и верить в одно:
она — продолжается!

1927

ДЕСЯТЫЙ ОКТЯБРЬ

Дочиста
пол натереть и выместь,
пыль со стола
убрать и смахнуть,
сдуть со стихов
постороннюю примесь
и —
к раскрытому настежь окну.
Руки мои —
чтоб были чи́сты,
свежестью —
чтоб опахнуло грудь.
К сердцу
опять подступают числа:
наших дней
начало и путь.
Сумерки
кровли домов одели...
В память,
как в двор ломовик, тарахтя,
грузом навьючив
дни и недели,
вкатывается
Десятый Октябрь.
Тысячи строк,
совершая обряд,
будут его возносить,
славословя.

Я же
тропу моего Октября
вспомню,
себя изловив на слове
«искренность»...
Трепет летучих искр,
искренность —
блеск непогасшей планеты.
Искренность —
это великий риск,
но без нее
понимания нету.
Искренность!
Помоги моему
сердцу
жар загорнуть и выскресть,
чтоб в моем
неуклюжем уму
песня вздышала,
томясь и искрясь.
Искренность!
Помоги мне пропеть,
вспомнивши,
радостно рассмеяться,
как человеку
на дикой тропе
встретилось сердце
стучащее
массы.
Был я
безликий интеллигент,
молча гордящийся
мелочью званья,
ждущий —
от общих забот вдалеке —
общей заботы
победное знамя.
Не уменьшась
в темноте норы,
много таких
живут по мансардам,

думая:
ветром иной поры
лик вдохновенный их
творчески задран.
Меряя землю
на свой аршин,
кудри и мысли
взбивая все выше,
так и живут
до первых морщин,
первых припадков,
первых одышек.
Глянут, —
а дум
облыселую гладь
негде приткнуть
одинокому с детства.
Финиш!..
А метили
мир удивлять
либо геройством,
либо злодейством...
Так жил и я...
Ожидал, пламенел,
падал, метался,
да так бы и прожил,
если бы
не забродили во мне
свежего времени
новые дрожжи.
Я не знал,
что крепче и ценней:
тишь предгрозья
или взмывы вала, —
серая
солдатская шинель
выучила
и образовала.
Мы неслись,
как в бурю корабли, —

только тронь,
и врассыпную хлынем.
Мы неслись,
как в осень журавли, —
не было конца
летучим клиньям.
Мы листвой
осыпали страну,
дробью ливней
мы ее размыли.
Надвое —
на новь и старину —
мы ее ковригой
разломили.
И тогда-то понял я
навек —
и на сердце
сразу стало тише:
не один
на свете человек, —
миллионы
в лад
идут и дышат.
И не страшно
стало мне грозы,
нет,
не мрак вокруг меня,
не звери,
лишь бы,
прянув на грозы призыв,
шаг
с ее движеньем соразмерить.
Не беги вперед,
не отставай, —
здесь времен
разгадка и решенье, —
в ряд с другими,
в лад по мостовой
трудным,
длинным,
медленным движеньем.

Вот иду,
и мускулы легки,
в сторону не отойду,
не сяду.
Так иди
и медленно влеки
наш суровый,
наш Октябрь Десятый.
Стройтесь, зданья!
Выситесь, города!
Так иди
бесчисленным веленьем
и движенья силу
передай
выросшим на смену
поколеньям.
Брось окно,
войди по грудь в толпу,
ей дано теперь
другое имя,
не жестикулируй,
не толкуй, —
крепкий шаг свой
выровняй с другими.
Стань прямее,
проще
и храбрей,
встань лицом
к твоей эпохи лицам,
чтобы тысячами
Октябрей
с тысячными
радостями
слиться!

1927

СИМБИРСКАЯ ДАЛЬ

Большая страна,
глухая страна,
киргизская степь, —
и над ней
луженою тучею
старина —
осеннего неба
темней.
По этой стране,
на этой степи
кого ни встреть
у костра,
куда ни взгляни,
куда ни ступи —
молчанье
и рабский страх.
Торговая сметка
хитра и скупа,
мелка
и зазвониста ложь.
Здесь жизнь норовят
за грош покупать
и честь продавать
за грош.
И в этой глуши
при свете свечи
понять
попробуй
сумей,

сумей
попробуй
одну отличить
от тысячи
русских семей.
Шумит самовар,
поет соловей,
звенит бубенец
у дуги...
Живет человек,
растет человек,
один
темнее других.
Так рос и он
в глухой темноте
и вырос
над темнотой.
И брови не те,
и губы не те,
повадки
и складки —
не той.
Так вырос
и вышел он,
коренаст,
степей
знаток коренной,
и в смертную схватку
схватился при нас
с двужильною
стариной.
Большая страна,
глухая страна,
бездольная степь, —
и в ней
мерцанье штыков,
и взрывы гранат,
и ржанье
походных коней.
Как будто отходит
тумана стена

от наших
домов и дней.
Как будто бы тает,
синея, она,
и даль
все видней и видней.
Как будто в поход
снялась темнота
от новой,
советской межи.
И даль не та,
и степь не та,
снялась темнота
и бежит.
Замолкнул бой,
и грохот затих,
и небо
синей и синей.
И степь,
насмерть старину захватив,
в обхватку
борется с ней.
Из рабства грошей,
из свиста плетей
страна
гранатой взвита!..
И реки не те,
и долы не те,
повадка
и складка —
не та.
Глядит
симбирская даль и глушь,
родней своей
велика, —
не в зеркало
грязных дождливых луж,
а — в будущие века.

1929

ОХОТА НА ОРЛОВ

> На Василии Кесарийском —
> орлы с коронами.
> Первый дом —
> украшает славянская вязь...
> Долго ль быть нам еще
> стариной покоренными,
> тупиками сознаний
> в былое кривясь?..
>
> *«Так получается»*

Я писал стихи
об орлиных крылах,
о змеиных расщепах
двуглавых голов,
и кой-где
понагнали
стихи мои страх,
и кой-где
поснимали
орлов с куполов.
Мне гордиться строчкой
на ум взбрело;
но не тем,
что ей —
прозвенеть в века, —
я гордился ею,
как первой стрелой,
угодившей в цель,
гордился дикарь.
Я ходил и думал:
остри свой стих!

Значит, он
попадает в точку,
туда,
где орлиный клекот
шипит и свистит,
где стервятников
вьются и реют
стада.
Но какая цена мне —
сам посуди,
и какая
стихам моим будет цена,
если
вон он
на Спасской башне сидит,
где куранты бьют
«Интернационал»!
Он еще обновлен
на десятом году
и блестит
позолотой
на высоте...
Если нынче
в него я не попаду —
нет и не было толку
от наших затей.
Мне ответят,
что это —
пустая буза,
никого, мол,
не тронет он,
в небе блестя;
что не дело целить
в такого туза
над страною
рабочих и крестьян;
и немало
других
неотложных дел,
чтоб из пушки
грохать по воробью;

что реликвией древности
он взлетел
и что рифмой его —
все равно не собью.
Нет, детки!
Это вы не метки,
целитесь впустую —
в синь густую.
Будет глаз мой щуриться,
силы не щадя,
по московским улицам
и по площадям.
Будет стих мой целиться
и звенеть стрела
всюду, где расстелются
мертвые крыла.
Надо расстараться
в далях увидать —
нет ли реставрации
где-нибудь следа.
Надо выжечь с корнем,
до малейших йот
этот древний горний
мертвенный полет.
Ибо —
что такое
фетиш?
Стань,
подумай
и ответишь.
Иду,
иду
по Москве дикарем,
и ты меня
не кори:
священною пляской
не покорен,
родные мои
дикари.
Иду,
чтоб меткость не умерла,

и рифму
        мечу стрелой.
Я буду целиться
                по орлам
и бить их
        в грудь
                под крыло!

1928

ЭМИГРАНТЫ

Всякий труд,
конечно, почетен.
Но...
скулы сводящее от зевот
чесание пяток
богатой тете —
едва ли кто
трудом назовет.
Пошел обедать
в берлинский «Медведь»,
смотрю:
подают приборы —
откуда взялись, —
о, читатель, ответь, —
блестящие
эти проборы?!
В глазах —
бла-а-роднейшая тоска
и свет
генеральских достоинств...
А вот —
научились бифштексы таскать,
за стулом
на вытяжку стоя.
Здесь нет разговора
про большевиков,
про новые
битвы и войны...

От кухни,
пожалуй, уйти нелегко:
попробовали —
довольны!
Читаю уж с месяц
газету «Руль»,
скитаясь
по белу свету.
Других
и в руки совсем не беру:
в немецких киосках —
нету.
Вторая страница —
о большевиках
(про мерзость эту
и скверну).
Неужто
Европе к ним привыкать,
когда —
раз плюнуть,
и свергнуть?!
Пророчит Гессен
блокаду к весне,
но лица
унылы у белых...
Не знаю уж,
что «объективно честней»:
мытье
иль битье тарелок?
Читаю дальше,
и шорох в ушах,
как скрипы
мебели ветхой.
И ручкою — вольт,
и ножкою — шарк,
и локоть
изогнут салфеткой.
У Гессена
газета сера,
крута
генеральская каша...

Ответьте мне,
бывшие профессора,
в чем знанье
и званье ваше?
Манишка в борще
и салфетка в руке...
Неужто ж
для старой знати, —
ответь мне,
сплошной зарубежный лакей, —
других
не нашлось занятий?!
Я знаю,
что, злобу в душе затаив
и жест округлив
широкий,
вы двинете...
лучшие блюда свои
в ответ
на мои упреки;
и сталью приборов
зловеще звеня
над строчкой
моею робкой,
вы, знаю,
блокируете меня,
стреляя...
нарзанной пробкой.
«Возмездие наше идет,
трепещи, —
тебе оно
будет сниться!
(На первое —
жирные русские щи,
второе —
по-венски шницель?)
Судьба
до конца неизвестна еще, —
трясись,
большевик проклятый:

тебе мы
          предъявим когда-нибудь счет,
и час наступит
                    расплаты!»
Я слушал, бледнея,
                         грозящую речь:
был пафос ее
                    так ярок...
Но —
      подали счет,
                    и как камень с плеч:
всего лишь...
                    пятнадцать марок!

1928

ГРАНИЦА

За Минском,
сумрачно тесна,
плечо в плечо
встает сосна,
распялив
лапчатые ветви.
Крепка
сарматская зима,
и на промерзлые
дома
сухое солнце
скупо светит.
За Минском —
долгие снега...
Так,
чистотой своей строга,
лежит
пред автором
страница.
И вдруг
над ней,
и тих и прост,
сторожевой
взмывает пост —
страны
и повести
граница.
Колючей проволоки
ряд.

Здесь —
пограничников отряд
живет
и бодрствует в дозорах.
У снегового рубежа
стоит ночами,
сторожа
малейший звук,
тишайший шорох.
Их окружают
лед и сталь...
Предательски —
невинна даль,
и небеса
оцепенели.
Тропа ведет
пята в пяту,
и снег рассыпчатый
метут
на лыжах
длинные шинели.
Костер
под тяжкою полой
блеснет
сиреневой золой,
и струйка
тянется на запад,
и, ежа
черные носы,
врагов
сторожевые псы
картошки ловят
теплый запах.
Злой тишиной
окружена
вооруженная
страна —
не отразилась
в том костре ли?..
Лишь повернись
к нему спиной,

и будешь тьмой
и тишиной
сильней, чем пулями,
обстрелян.
Я не хочу
фальшивым быть,
литавры рвать
и в бубны бить,
но наш костер
на то рассчитан,
чтоб было
всюду видно им,
что мы не спим,
что сторожим,
мы —
угнетенных всех защита!..
Шинелей полы
тяжелы.
Огонь сверкнет
из-под золы,
и вспомнят
дали трудовые,
что тем огням
цветами цвесть,
что в мире
где-то правда есть
и этой правды —
часовые.
За Минском
даль лежит строга,
земля укутана
в снега,
но в каждой памяти
хранится.
Там,
где сосновая игла, —
пространств
и времени легла
красноармейская
граница.

1929

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
1930

РАЗГОВОР С МОСКВОЙ

По прямому
по вешнему проводу
я с большой Москвой
разговор веду:
«Отчего ты, Москва,
стала неженкой?
У тебя по вискам —
ветер свеженький.
Оттого ли тебе плакать
да хмуриться,
что весенняя слякоть
по улицам?!»
За раскатом раскат —
грудью грохота
отвечает Москва
очень плохо так:
«Как же мне не грустить
да не плакаться, —
не в добре, не в чести
мое лакомство!
Позабиты в щель,
пали в рытвины

запах жирных щей,
звон молитвенный».
По сквозному
весеннему проводу
я с весной-Москвой
разговор веду:
«Да на том ли тоска
твоя держится?
Не пора ли, Москва,
тебе утешиться?!
Меж ухабов твоих,
между выбоин
я брожу,
молоком твоим
выпоен.
Я брожу между досками,
щебнями,
между будними днями
учебными.
Я смотрю:
вся в поту,
вся в испарине,
ты — не в синь-высоту ли
распялена?
И не старь-старину ли
неотесанную
ты пудовою балкой
христосуешь?»
Отвечает Москва
длинной нотою:
«Что ж,
я мало в будни работаю?
От застав
до Пожарского идола
всю меня подсушило,
повыдуло.
А без праздника
без весеннего
всех трудов моих сила
обесценена!

Вон какая тишь,
голубая вся,
залегла меж крыш —
улыбается.
Если в старое
стыдно веровать,
пусть идет ко мне
племя пионерово.
Пусть шагами стучит оно
близкими,
заливается
песнями-брызгами.
Мне пример брать
больше не с кого,
как с тебя,
житье пионерское.
Полюби ж меня
грязной, мокрою,
перекрой меня
краской охрою.
Чтоб бульвар в бульвар
длился правильно.
Чтоб асфальт заливал
все окраины.
Чтобы, глядя
в синие лужицы,
мне церковного звона
не слушаться.
Колокольный зык
пусть не дразнится
на призывы
вешнего празднества.
Мне не спину гнуть
под обрядностью,
мне бы чуть хлебнуть
новой радости!
Я несу весну
тонкой, хрупкою, —
не хмельному сну
пьяной рюмкою.

Я несу весну
в сердце нежненько.
Я весной плесну
по подснежникам.
Поднялась я к ней
вся на цыпочках,
чтоб никто весне
губ не выпачкал.
И ничто тому
ветры резкие,
кто весной в дому
не побрезгует.
Вон идет она к нам,
не ленится.
Вон ведет она
юных ленинцев.
Вон идет она
насквозь,
не качается!..»
И на этом разговор
с Москвой —
кончается.

1928

МЫ ЖИВЕМ...

Мы живем
еще очень рано,
на самой
полоске зари,
что горит нам
из-за бурьяна,
нашу жизнь
и даль
озарив.
Мы живем
еще очень плохо,
еще
волчьи
зло и хитро,
до последнего
щерясь
вздоха
под ударами
всех ветров.
Но не скроют
и не потушат,
утопив
в клевете и лжи,
расползающиеся
тучи
наше солнце,
движенье,
жизнь.

Еще звезды
во сне мигают
на зеленом небе
морском.
Не собьют нас,
не запугают
темной тенью,
волчьим броском.
Те хребты
и оскалы
плоски,
порожденные
полусном.
Мы ж
на самой зари полоске
свежей жизнью
лоб сполоснем.
Из-за тучи,
из-за тумана,
на сквозном
слепящем ветру,
мы живем
еще очень рано,
на свету,
в росе,
поутру!

1928

ИСКУССТВО

Осенними астрами
день дышал, —
отчаяние
и жалость! —
как будто бы
старого мира душа
в последние сны
снаряжалась;
как будто бы
ветер коснулся струны
и пел
тонкоствольный ящик
о днях
позолоченной старины,
оконченных
и уходящих.
И город —
гудел ему в унисон,
бледнея
и лиловея,
в мечтаний тонкий дым
занесен,
цветочной пылью
овеян.
Осенними астрами
день шелестел
и листьями
увядающими,

и горечь горела
на каждом листе,
но это бы
не беда еще!
Когда же небес
зеленый клинок
дохнул
студеной прохладою, —
у дня
не стало заботы иной,
как —
к горлу его прикладывать.
И сколько бы люди
забот и дум
о судьбах его
ни тратили, —
он шел — бессвязный,
в жару и бреду,
бродягой
и шпагоглотателем.
Он шел и пел,
облака расчесав,
про говор
волны дунайской;
он шел и пел
о летящих часах,
о листьях,
летящих наискось.
Он песней
мир отдавал на слом,
и не было горше
уст вам,
чем те,
что песней до нас донесло,
чем имя его —
искусство.

1930

ОКТЯБРЬСКИЕ ПЕСНИ

Мы ходим в кино,
играем в ма-джонг,
ухаживаем
потихоньку от жен;
под стоны чарльстона,
под хрипы гармошки
летим развлекаться —
веселые мошки.
С младенчества тянем
причмокивать ртишки
на вина,
на девочек
да на картишки.
Еще ни быт,
ни характер не слажен,
а мы уже ищем
покоя послаже.
И, только почувствовав
крылышек жжение,
впадая в какое-нибудь
несчастье,
вопим о захлестывающем
окружении,
о сжавшем нас
в кольца удавьи
мещанстве.

От чичиковской
всеизвестной брички
ведут родословную
наши привычки.
У русских,
известно,
душа грозовая:
двое работают —
двадцать зевают.
А когда
к тридцати годам
попристальней взглянем
в прожитый десяток, —
окатит времен
ледяная вода
и в сердце останется
смутный осадок.
А тут злорадные
да грязноглазые
захватят сердце
крепче клещей:
у разума с чувством-де
разногласия,
и это все
в порядке вещей.
Чтобы не радовать
сердца вражьего,
пищи не дав
его злобным речам,
давайте
не разлагаться заживо
по мелочам.
Прекратить надо
ахи да охи нам,
так начиная
порядок дневной:
двадцать
упражнений Анохина
и с постели —
под душ ледяной.

Чтобы целого
              не ослаблять,
дрожь и слабость
                    из тела выньте,
чтобы у нашего
                   корабля
крепок был
            каждый винтик,
чтобы мускул
              силой набряк,
чтобы железнились
                     груди,
чтобы были
            у Октября —
только
      свежие
            люди!

1927

ИДЕМ

Громадой раскаленною
широкий ветер, Май,
колонну за колонною
всю землю подымай!

Тревогу первомайскую,
земель глухой восторг
не скроют чинной маскою
ни Запад, ни Восток.

На Севере и Юге
сквозь сумерки пространств
узнают друг о друге
рабы далеких стран.

Не все греметь громами
привычна синева.
Пошли!
          Не захромали!
Идем!
        Не унывай!

Не только половодье
да света полоса —
наш Май теперь заводит
иные голоса.

Не только выклик птичий,
наш Май теперь таков:

заводов перекличка
да щебет верстаков.

Ночные страхи вычистив,
отставку дав луне,
мы пустим электричество
гулять по всей стране.

Зима не заколодит,
отзябнула зима...
И Май глаза наводит
на новые дома.

Ушла она, растаяв,
тут не о чем тужить,
и, стеклами блистая,
взлетают этажи.

Чем были встарь, измеряй-ка, —
лесная глушь да степь.
А мы теперь Америки
перегоняем темп.

Над новыми делами,
над тягостью полей
широкими крылами,
советский Май, алей!

Еще года стараться,
корпеть и изумлять,
но нынче демонстраций
котлом кипит земля.

Не все гудеть громами
привычна синева.
Пошли!
          Не захромали!
Идем!
        Не отставай!

1930

ПЕСНЯ ОДИННАДЦАТИ ЛЕТ

Стали тучи серыми,
    хмурыми клочьями —
над пионерами
    и над рабочими.
Сумрачны и пасмурны
    думают: авось они
забоятся насморка,
    сырости, осени.
Зажигайся в три часа,
    электричество.
Собрали заранее
    мы собрание.
Над погодой грязною,
    хмуренькой, мокрою
брызнем краской красною,
    суриком, охрою.
Взвейте краски юности
    и труда —
нет от серой хмурости
    и следа.
Знамена вынесите,
    выбив пыль, —
Октябрь одиннадцатый
    наступил.
Колонны двинутся, —
    сколько им лет?
Один: «Одиннадцать!» —
    один ответ.

Кто идет
в культурный поход?
Мы с тобой
по мостовой!
Шеренги выстроив,
каждый дом
походкой быстрою
обойдем.
На задворках лом, лом,
лом железный;
мы его соберем —
он полезный.
В человечье месиво
вклинивайся весело.
Все задворки вызови
для ревизии.
Наклонись, прислушайся
над одними:
кто упал, споткнувшися, —
мы поднимем.
А безногий хлам, хлам
нам не жалко;
кто в кабак да в храм, в храм,
тот — на свалку!
Кто идет
в культурный поход?
Мы с тобой
по мостовой!
С бывшим панством
рядом ложись,
матом да пьянством
залитая жизнь.
Место — пусто,
в ряд улягайся:
чванство, да буйство,
да хулиганство.

1928

С НОВЫМ МЮДом!

Дожди ли весны
льют,
осеннее ль небо
синё:
шумит
молодой люд —
труда
дочерей и сынов.
Вчера еще
был мал,
был мил
и щенячьи слаб,
а нынче
всю жизнь взял
в охапку
крутых лап.
Вчера еще
переступал,
едва
оставляя след,
а нынче —
тверда стопа,
хрустит
в камышах лет.
У старости
много грехов,
но остры
глаза ребят, —

пусть
молодости приход
их
с кожи дней
соскребет.
Не тем,
кого жизнь согнет,
кто
тропок ищет кривых;
не тем,
кто за пачки банкнот
цепляться
с детства привык, —
привет,
привет наш таким,
кого
породил труд,
в чьем сердце —
значок КИМ,
чьи годы
ведет МЮД.
У них
такие глаза:
ни робости,
ни владык,
как Хлебников
предсказал,
воспев
союз молодых.
Не думай,
что ты силен,
что выделен
ты судьбой:
будь равен
с самых пелен
с таким же —
кто рос с тобой.
Не думай,
что ты умен,
умней
и красивей других:

на страже
новых времен
их дни
часовым стереги.
Юнгштурма
форма одна,
носи же ее
ловчей
и помни —
она родна
для всех
молодых плечей.
Зачванишься —
оборвут,
вскуражишься —
засмеют:
на свет,
на жизнь,
на борьбу
идти призывает
МЮД.
Привычную
к снам и чинам
мы жизнь
перетрусим до дна,
и новый год
начинать
мы будем
с нашего дня.
Друг друга
тесней держись,
пусть руки
весь мир обоймут:
на свет,
на борьбу,
на жизнь
скликает отряды
МЮД!

1930

ПЕРЕБОР РИФМ

Не гордись,
что, все ломая,
мнет рука твоя,
жизнь
под рокоты трамвая
перекатывая.
И не очень-то
надейся,
рифм нескромница,
что такие
лет по десять
после помнятся.
Десять лет —
большие сроки:
в зимнем высвисте
могут даже
эти строки
сплыть и выцвести.
Ты сама
всегда смеялась
над романтикой...
Смелость —
в ярость,
зрелость —
в вялость,
стих — в грамматику.
Так и все
войдет в порядок,
все прикончится,

от весенних
лихорадок
спать захочется.
Жизнь без грома
и без шума
на мечты
променяв,
хочешь,
буду так же думать,
как и ты
про меня?
Хочешь,
буду в ту же мерку
лучше
лучшего
под цыганскую
венгерку
жизнь
зашучивать?
Видишь, вот он,
сизый вечер,
съест
тирады все...
К теплой
силе человечьей
жмись
да радуйся!
К теплой силе,
к свежей коже,
к синим
высверкам,
к городским
да непрохожим
дальним
выселкам.

1929

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Сто довоенных
внушительных лет
стоял
Императорский университет.
Стоял,
положив угла во главу
умов просвещенье
и точность наук.
Но точны ль
пределы научных границ
в ветрах
перелистываемых страниц?
Не только наука,
не только зудеж, —
когда-то
здесь буйствовала молодежь.
Седые ученые
в белых кудрях
немало испытывали
передряг.
Жандармские шпоры
вонзали свой звон
в гражданские споры
ученых персон.
Фельдъегерь,
тех споров конца не дождав,
их в тряской телеге
сопровождал.

И дальше,
за шорох печористых рек,
конвойным их вел
девятнадцатый век.
Но споров тех пылких
обрывки,
обмылки
летели, как эхо,
обратно из ссылки.
И их диссертаций изорванных
клочья,
когда еще ты не вставал,
пролетарий,
над синими льдами,
над царственной ночью,
над снами твоими,
кружась, пролетали.
Казалось бы — что это?
Парень-рубаха,
начитанник Гегеля
и Фейербаха,
не ждя для себя
ни наград,
ни хваленья,
встал первым из равных
на кряж поколенья.
Да кряж ли?
Смотрите —
ведь мертвые краше
того,
кто цепями прикован у кряжа,
того,
кто, пятой самолюбье расплющив,
под серенькой
русского дождика
хлющей
стоит,
объярмован позорной доскою,
стоит,
нагружен хомутовой тоскою.

Дорога плохая,
погода сырая...
Вот так и стоит он,
очки протирая,
воды этой тише,
травы этой ниже,
к бревну издевательств
плечо прислонивши...
Сто довоенных
томительных лет
стоял
Императорский университет.
На север сея, стоял,
и на юг
умов просвещенье
и точность наук.
С наукой
власть пополам поделя,
хранили его тишину
педеля́...
Студенты,
чинной став чередой,
входили
в вылощенный коридор.
По аудиториям
шум голосов
взмывал,
замирал
и сникал полосой.
И хмурые своды
смотрели сквозь сон
на новые моды
ученых персон.
На длинные волосы,
тайные речи,
на косовороток
подпольные встречи,
на черные толпы
глухим ноябрем,
на росчерк затворов,
на крики: «Умрем!»

На взвитые к небу
казацкие плети,
на разноголосые
гулы столетья,
на выкрик,
на высверк,
на утренник тот,
чьим блеском
и время и песня
цветет!

1929

ПОСЛЕДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ

Господин Тейер!
Господин Фуллер!
Плохая затея —
электростулья.
Не в том дело,
что очень жестоко
рабочее тело
корчить током.
Негры гибнут от плети,
от голода рикши,
партизаны
с резаной спиной...
Мы такие,
что мы привыкши
смерть ценить
великой ценой.
Но разве
гнева
бессильная желчь,
от которой
плечи трясутся,
может сердце
бесконечно жечь,
не имея
иных ресурсов?
Если это жжение
и эта боль

станут
напряжением
в миллионы воль, —
все,
за что б
ни взялись вы рукой,
и обо что б
ни коснулись полой,
станет
зарядом
раскалки такой,
чтобы сравнять вас
мгновенно
с золой.
Господин Тейер,
господин Фуллер,
мир
не посадишь
на электростулья.
Но если этих...
Но если только
к ним прикоснетесь вы
трепетом тока, —
вот вам
ваш будущий адрес
точный:
вас не укроют
стены палаццо —
вниз головою
в канаве сточной
будут ваши трупы
валяться!
Не подумайте,
что я ругаюсь,
к мстительным фантазиям
ретив;
это вы зовете
черный хаос,
землю
в место пыток
превратив.

И если где-нибудь
белая стерва
вновь загнусавит
про красный те́ррор, —
вбить кулаком
обратно слюну
в лживую глотку
я первый клянусь.
Всех Фуллеров
и всех Тейеров
вытащить жен
из-за вееров,
напомнив,
что не одним на свете
рот
кулаком зажат
и что
не только
Сакко с Ванцетти
предсмертной влажью
дрожат!

1927

ТЕМ,
КТО НЕ ЛЮБИТ СОВЕТСКИХ ТЕМ

Наши враги,
заливаясь лаем,
брешут,
будто день наш убог;
блеском балов
не ослепляем,
груб
советской были лубок.
Очень жаль им
нашего быта,
говорят они
с кислою миною:
радость в жизни
в стране, мол, убита
с теплотою
душевно-каминною.
И культура наша —
лишь сколок
с буржуазных
давних затей;
и у нас,
по-дикарски голых,
нет и не было
новых путей.
К черту
этих сплетен злую жуть!

Я вам расскажу
про новый путь.
Там,
где Ленинградское шоссе
уперлось тараном
в даль седую;
где метели,
на ветвях засев,
на Москву
губой студеной дуют;
где мороз
помещика лютей
прошибает лоб
цыганским потом, —
раскачало
множество людей
ледяным
раскатистым
фокстротом.
Мерным шагом
движутся
лыжники
и лыжницы.
— Предрассудки
не изжиты,
жалко
ихней участи:
это же они
визитам
буржуазным
учатся!
Уходите,
скройтесь в дымке
под трамвай
джазбандовый.
Снеговой паркет
Ходынки,
ленты дней
разматывай.
Мчаться
все уверенней.

Прощевай,
Сокольники!
Нас
в другой губернии
ждут
на подоконнике.
Кончись,
жизнь оседлая!
Здравствуй,
даль соседняя!
Вон как
какой-то массовик
(плох одёж
товаришко)
в два платочка
носовых
руки —
вместо варежков.
«Это что ж
за нищета,
дорогой наш
братец?
Ты бы раньше
сосчитал,
чем на лыжи
тратиться.
Ты бы лучше
стал баптист,
чем такие
трения.
Ты бы лучше
спел про птиц
нам стихотворение».
Отлетайте
на паркет,
сплетники
и склочники.
Гляньте:
палка в руке
как зажата
прочненько.

Наша жизнь
на весу,
ваша —
в наст уляжется.
Через вас
пронесут
лыжи
наши тяжести.
Наши залы —
малы —
ледяные стволы, —
мы летим
с поклонами
между их колоннами.
До свиданья,
Москва,
прощевай,
Сокольники, —
ждет
в деревне братва
нас
на подоконнике!

1930

ДОРОГА

1

Мир
широк и велик
с пути полета,
но хвалит
каждый кулик
свое болото.
Пускай
и в земную треть
гнездо куличье,
хочу лететь —
осмотреть
земли величье.
Дыши шумней,
паровоз, —
зима седая.
Кружись,
лесов хоровод,
вниз оседая...
Как быстро
вдаль ни бежит
твой путь, — он робок;
глумясь,
встают рубежи
в крутых сугробах.

Раскинулась
широко
страна — Расея,
и в ней
таких дураков
не жнут, не сеют.
Сто дней
топочи конем —
не сдаст пространство.
Пора
говорить о нем
не так пристрастно.
Как медленный
сток ржи
в амбарный запах, —
замедленная
жизнь
обваливается на Запад.

2

Дорога была
навек
прочна, опрятна;
винтами
вилась наверх
и шла обратно.
Вся белая,
без теней,
ровна, как скатерть...
И полз
мурашом по ней
мотор на скате.
Теперь,
воротясь назад,
она воочию
впивается
мне в глаза
и днем и ночью.

Чем сможет
чужая страна
нам сердце трогать?
Натянутая,
как струна,
звенит дорога.
Не узенькою
тропой —
от речки в рощу:
по этакой
и слепой
пройдет на ощупь.
С такой
к рулю привыкать;
здесь воз — помеха.
По этой
без грузовика
не стоит ехать!
На этой —
кого ни встреть,
не разоспится...
И люди
идут быстрей,
и чаще спицы.

3

Чем ближе
родные места,
тем реже люди:
«...Чем тише
наша езда,
тем дальше будем!»
Замшелая
мудрость лесов,
колтун распутиц...
Какое тебя
колесо
возьмет распутать?

И хватит ли
                  лет полста
твоей тощищи,
чтоб
      гладью дорог-холстов
был грунт расчищен?
Товарищи
               и творцы,
болото — шатко:
скорей
         подвози торцы,
грани брусчатку.
Пусть там,
                где вилась морошка
да голубица,
асфальтовая
                  дорожка
в тень углубится.
Пусть там,
               где лишь филин ухал
во мгле трясины,
шуршит
          хорошо и сухо
прокат резины.
Пусть каждому
                      станет дорог,
как голос близкий,
гудок
       и знакомый шорох
сквозь пыль и брызги.
Чтоб нам бы
                  не тише ехать
вдаль, без задора —
пусть всюду звучит,
                           как эхо,
зов Автодора!

1928

ПОТОК

Давнишний мудрец
толковал про то,
что дважды
не влезешь
в один поток.
Мудрец не сказал,
что без жажды
не влезть в него
и однажды.
Чем вызывается
жажда времен?
Какой крутосоленой
кашей?!
Как бы ты ни был
плечист и умен —
враз про это
не скажешь.
Стих прохлаждается
на берегу
немедлящего
потока,
но я заставляю
его перегуд
захлебываться
про то,
как —
двое вошли
в раскаленную печь

стоградусного накала,
чтоб жар ее,
набранный за ночь,
сберечь,
чтоб пламя
не затухало.
Зачем им приспела
такая спешка?
(Голос с глубокого тыла.)
Нельзя подождать было
разве,
чтоб печка
остыла?
Нельзя подождать
ни стиху,
ни станку,
ни шахте,
ни забою,
чтоб сразу с движенья
себя не столкнуть,
не стать
в разноречье с собою.
Кто ж эти двое?
Брюнеты? Блондины?
(Голос с далекого сбоку.)
Но стих отвечает:
не все ль едино,
не все ли равно
глубоко?!
Я знаю:
они в раскаленной печи
укладывали
выпавшие кирпичи.
Вопросы ж —
какой они масти и роста —
одно любопытство
просто.
Строку лихорадит
стоградусный жар,
работа торопит:
«Скоро!»

И если перо
разъедает ржа, —
вперед,
карандаш рабкора!
Вперед карандаш,
на стоустый рассказ
уколом,
рывком карандашь их!
И если ты
с первого же броска
нагрева
не передашь их,
то зря будешь после
их профиль и цвет
раскрашивать
в длинную повесть, —
она сохранится
на несколько лет,
но это уж будет
не новость.
Их случай
сейчас же примерь и приметь,
сейчас же в работу
его нам.
Их дело
немедля
должно загреметь
раскатом по миллионам!
Двое вошли
в раскаленную печь,
полную
душного жженья,
и ты
от забывчивости обеспечь
вот это вот
их движенье.
Старинный мудрец
говорил про то,
что дважды
не влезешь
в один поток.

Старик в изреченьях
был дока:
нельзя
уходить от потока.
А если ты на берег
вылез сух,
слюной вдохновенья
намылясь, —
поток твой промчался
и жар твой потух,
и —
с чем ты,
скажи на милость?

1930

ПЕСНЯ УДАРНЫХ БРИГАД

Горят флажки,
как огоньки,
передового ряда.
Кто у станков?
Ударники,
ударная бригада!

С дороги прочь,
с дороги прочь —
удар направлен метко!
Она растет —
рабочих дочь,
Союза пятилетка!

Стоят враги
у рубежа,
но мы осилим беды,
мы не позволим
обижать
дитя своей победы!

Бодрее песню
затяни,
не замедляя хода,
катись,
рвачи и летуны,
подальше от завода!

Товарищ,
будь же начеку:
на теле нашем — рана,
не дай зиять
прогульщику
прорывом промфинплана!

Гремят станки
вперегонки,
даешь напор что надо!
Кто впереди?
Ударники,
ударная бригада!

И день и ночь,
и день и ночь —
удар направлен метко!
Расти, расти —
рабочих дочь,
Союза пятилетка!

1930

УДАРНАЯ ПЕСНЯ

Завод отстает,
отстает,
отстает
вторую декаду
и третью декаду.
Рвачи у станков,
летуны у ворот
стремят его вниз,
по откату.
Чтоб
вредителю и гаду
пасть ничком,
бей, удар-
ная бригада,
обушком!
Чтобы
враг не заливался
хохотком,
задевай
его за галстук
молотком!

Завод отстает,
отстает,
отстает,
работает вяло,
недружно и криво.

Ударник
плечо подставляет свое
заплатой
в прореху прорыва.
Чтобы
шла работа хлеще,
без тоски,
зажимай
лентяя в клещи,
жми в тиски!
Чтобы
шел сильней и гулче
говор вкруг:
расточитель
и прогульщик —
белым друг!

В сквозные бригады
вступил
молодняк,
но нет —
старики
ни на шаг не отстанут,
и будет сейчас же,
на этих же днях,
разрез
промфинплана
затянут!
Брось трезвонить
и трепаться,
водолей!
Непролазных
нет препятствий:
одолей!
Непорядки,
неполадки
подтяни!
Стоп!
Кончай играться в прятки,
летуны!

Заводский буксир
перешел перекат,
и прочные кладки
над прорвой кладутся,
и всюду,
где крепость
ударных бригад,
растет
повышенье продукций.
Кто там силу
экономит?
Зорче глаз!
Подымает
вверх манометр
ярость масс.
В лоб вредителю
и гаду —
бей, не бойсь!
ТЕМП!
Ударная бригада,
крой насквозь!

1930

МАРШ МЕЖДУНАРОДНОГО ПИОНЕРСКОГО СЛЕТА

Мы —
пи-
онеры
СССР.
Слушайте
голос наш
все, все, все.
Голос наш — громок,
бить в цель — не промах,
голос наш — весел,
выше всех кресел,
громче
пар-
ламентских сессий,
сэр, —
рокот постройки
СССР!

Нас
солидарность
рабочих
шлет
на пи-
онерский
всемирный слет.
Крепкие крылья
всюду раскрыли:

вольным полетом
мчим над болотом.
Знаем:
истории
роет
крот
крепость фашистскую —
злой оплот!

Мы —
пи-
онеры
СССР.
Голос наш
слушайте
все, все, все.
Голос наш — громок,
в цель бить — не промах,
голос наш — весел,
выше всех кресел,
выше
пар-
ламентских сессий,
сэр, —
голос свободный
СССР!

1930

МУЗЫКА С ВЕДДИНГА

Вот опять
забурлила
окрест тишина.
Металлистов
Берлина
оркестр — начинай,
начинай
нашу музыку
в Нейкёльне,
чтоб
хозяев печенки
заекали!
Кто думал,
что мы замолчали,
тот врет.
Сильнее,
чем было вначале, —
Рот Фронт!
Уставились
пулеметы
в наш круг.
Сведен в кулаки
до ломоты
лес рук.
Под липами
редкого леса
желт лист.

Дубинок резиновых
резок
и зол свист.
Эй-эй,
закрывайте все окна —
встал класс,
никто не отступит,
не охнет —
встал класс,
никто не устанет,
не всхлипнет —
тверд рот.
На площадь,
где властвует Либкнехт, —
Рот Фронт!
Вот опять
забурлила
вокруг тишина.
Под ногами
Берлина
земля зажжена.
Как хозяин
напуган
и бледен как:
начинается
музыка
с Веддинга!

1929

ПЕРВОМАЙСКИЕ СИГНАЛЫ

Горнист, поднимай трубу!
Сбирай детворы гурьбу
на радость, труд и борьбу!

Зеленая ветка,
пушись по лугам!
Шуми, пятилетка,
на радость нам,
на радость нам,
на зависть врагам,
на ровный подъем
пионерским шагам!

Раз, в ногу,
в ногу, раз,
раз, в ногу!
Нас много,
много нас,
нас много!
Вей, знамя,
знамя, вей,
вей, знамя!
Кто с нами,
тот скорей
в ряд с нами!

У пчел не отнимешь
их мед и воск.

У Первого мая
не мало войск.
Не свалишь пулей
весенних дней.
Рабочий улей,
шуми грозней!

Раз, в ногу,
в ногу, раз,
раз, в ногу!
Нас много,
много нас,
нас много!
Бей, бубен,
бубен, бей,
бей, бубен!
В бой буден
не робей,
в бой буден!

Весенних почек
не сдержишь расцвет.
Мы — дети рабочих
победных лет.
Мы — весен разведка,
и путь наш прям.
Шуми, пятилетка,
на помощь нам!

Трубу поднимай, горнист!
Коммуны май, развернись,
земли опояшь карниз!

Раз, в ногу,
в ногу, раз,
раз, в ногу!
Нас много,
много нас,
нас много!

Вей, знамя,
знамя, вей,
вей, знамя!
Кто с нами,
тот скорей
в ряд с нами!

1930

ГЕРОИКА
1930

В ОДНОЙ СТРАНЕ

Пионерская плотва,
комсомольская братва,
старые партийцы,
    чья блещет честь,
сегодня вам гордиться
    навек чем есть!
Живое сердце Ленина, —
    гляди, гляди, —
проносит поколение
    в своей груди.
Оно не остановлено,
    стучит оно —
тобой, людская новина,
    оживлено.
Меняет осень на зиму
    десяток лет.
Его большому разуму
    проложен след.
Его движеньем тронется
    ко всем, всем, всем
на помощь легкой конницей
    РЛКСМ.
По будням нашей стройки
    с низов и до высот

неслабнущей героики
    напор несет.
Другие страны, вымокши
    без смен в поту,
глядят: он жив, не вымышлен,
    растет вот тут.
Пускай глядеть пестро им
    на свет из теней,
но мы его построим
    в одной стране.
Лети же легкой конницей
    за ним по пятам,
пока к земле не склонится
    старик-капитал.
Из лучших лучший призван
    в ВЛКСМ,
и знамя коммунизма
    над всем, всем, всем.
Не будет он поруган
    и втоптан в грязь,
за это вам порукой —
    со сменой связь.
Жужжать пчелиным роем
    тугой струне,
пока его мы строим
    в одной стране!

1928

АНГЛИЙСКОМУ РАБОЧЕМУ

Далекий товарищ,
рабочий английский,
тебе ли не видеть
опасности близкой?!
Ее не прогонишь
сочувственным вздохом
по сумрачным шахтам,
по стонущим докам.
Она поднимается
медленно кверху
раскатами лязга
и дымом над верфью.
Она растекается
визгом и стоном
по броненосцам
тысячетонным.
По каждому делу,
по каждому звуку,
повсюду,
куда поднимаешь
ты руку.
Далекий товарищ,
английский рабочий,
неужто ты
будущим
не озабочен?
Неужто плечо твое
бодро и радо

выстругивать
тело стальное
снаряда?
Неужто в руках твоих,
дням благодарных,
отмечен и вытравлен
этот ударник?
Неужто скользишь ты
привыкнувшим глазом
по бомбам,
тобою наполненным
газом?
Неужто ты сжился привычно
и сросся
со смертным оскалом
твоих броненосцев?
Английский рабочий,
далекий товарищ,
кого ты
снарядами теми завалишь?
Куда ты пошлешь,
приказавши: «Нацелься!» —
металл Бирмингема
и уголь Уэльса?
Дымящие доки,
гремящие верфи,
пальбы по врагу
никому не доверьте!
А если придется
ложиться снарядам,
вы их направляйте
к застрельщикам
на дом!
Чтоб от орудийного
гула и свиста
оделся бы трауром
древний Вестминстер!

1930

НАНКИН ГОРИТ

Суша, греми!
И море, ори!
Выгнанные
англичане и янки
Нанкин разрушили!
Нанкин горит,
освобожденный
от нечисти Нанкин!
Как бы вы после
на сотни ладов
о стариках
и о детях ни пели, —
нет,
поджигатели городов,
мир не забудет
об этаком деле!
Вы не потушите
этой зари,
вы не залепите
золотцем уши:
Нанкин разрушен,
Нанкин горит,
Нанкин пылает
от Англии пушек!

1927

КОМИНТЕРН

Они войдут,
               они вольются —
батрак и раб —
в тебя,
          грядущих революций
всемирный штаб.
Они войдут,
               преображая
твердыни дней,
и станет им
               земля чужая —
землей своей.
Она взлетит
               волной широкой —
ветров гроза,
метнув
          песочницу Марокко
врагу в глаза.
Они восстанут
                    в гулах гонга,
под вой зверей
из зарослей
               глухого Конго,
подняв свирель.
Жарой тропической
                         пылая,
под свист и смех,

они взовьют тебя,
Малайя,
над злобой тех,
с кем
им и стоит только драться,
вконец сразив,
с единственно чужой нам
расой —
буржуазий!
Тугих бичей
над нашей шкурой
рокочет град,
но их низложит
диктатурой
пролетариат.
Они еще
темны и глухи
к земным цветам,
но по рядам
летают слухи,
что где-то там —
в стране далекой
и холодной,
в стране снегов —
готовит гром
народ свободный
на их врагов.
Идут,
сгибая спины мерно,
и ноги в кровь,
но знают:
имя Коминтерна —
их общий кров.
Они войдут,
они вольются —
батрак и раб —
в тебя,
грядущих революций
всемирный штаб.

Они дойдут,
преображая
твердыню дней,
и станет им
земля чужая —
землей своей!

1930

ВОЗДУШНЫЙ МАРШ

Крыл полированных
сверк:
наши аэро —
вверх,
наши аэро —
новая эра,
наши аэро —
вверх!

Сердце безмолвью —
дай,
чтоб загудела
даль,
чтоб загудела
даль без предела,
летчик —
в небе тай!

Рокот
широких стай,
сталью
вверху блистай!
Нашим пилотам
плыть над болотом,
оздоровляя
край.

Если густа
саранча,
враз с саранчой
кончай.
Неурожаем
край угрожаем —
край
из беды выручай!

Если ж
сомкнут враги
над головой
круги,
рокотом гнева
справа и слева
край
от врага стереги!

Злая угроза,
сгинь,
неба
заселим синь!
Вражьи пилоты,
в наших широтах
нет ни рабов,
ни рабынь.

Крыл полированных
сверк,
чтобы наш день
не смерк!
Наши аэро —
воля и вера,
плавно и ровно
вверх!

1928—1930

ПРОГУЛКА ПО ЛЕСУ РЕДАКТОРА «ФОРВЕРТСА»

От пышных дворцов
до рабочих нор,
от шумного Веста
по скромный Норд —
Берлин,
не очень до смеха охочий,
над этим
покатывается — хохочет!..
Редактор Шварц
обожает почет,
слюна на почет
у Шварца течет.
В пределах
редакции «Форвертса»
он
собственной славой
кормится.
Не очень известен
товарищ Шульц,
но чует Шульц
улицы пульс,
идя,
как все коммунисты,
своим путем
каменистым.
Сияет Шварц,
редактор эс-дэ,

ему уваженье
во всем
и везде.
По радио —
кто помеха
ему
разговаривать ехать?
А Шульц
задумал затею одну:
пустить
броненосца постройку
ко дну,
чтоб был
о мильонах марок
запрос всенародный
жарок.
Но Шульц
про это кричи не кричи, —
от радио
Шварцем зажаты ключи.
Чтоб всех известить
про это,
на радио
доступа нету.
У Шварца-редактора
выспренный вид, —
он завтра
по радио речь говорит;
ее он готовит
до ночи,
как вдруг —
телефонный звоночек.
И вежливый голос,
внушительный бас,
доверье внушающий
с первых же фраз,
ценящий талант
и заслугу,
приятен
и сердцу
и слуху:

«Чтоб качка автобуса
вас не трясла,
позвольте
за вами машину прислать».
В восторге
от тонкого такта
расшаркался в трубку
редактор.
Машина подходит
на мягком ходу,
в окошко ей машет редактор:
«Иду».
Доволен
почетом по чину,
влезает он
гордо в машину.
Берлин покидая,
машина — в лесок...
У Шварца
от страха
седеет висок:
влекут его
в страшное место,
как встарь
умыкали невесту.
Пока же
везли уважаемый куль,
на радиостанции
выступил Шульц,
назвавшийся Шварцем,
но кожей
ни капли
на Шварца не схожий.
Не веря
радиоушам,
дрожит
буржуйская душа.
И жмет
плотней и туже
рабочий
к трубке уши.

Как гром,
призыв пронесся:
«Кто —
против броненосца?
Компартией
речь елейная
редактора Шварца
снята.
Да здравствуют
страны Ленина
и Либкнехта!
Довольно
лоснить словами
политику
мелких жульств —
не Шварц
говорит с вами,
а коммунист Шульц».
Шварц из леса
вернулся цел,
он время провел
плохо там.
На утро же
Берлин на корточки сел
от неудержимого
хохота.
«Форвертс» вышел
серый от злоб,
но кроме —
не было грустного,
и не было никого,
кто б
ему
и броненосцу
сочувствовал.

1930

ПУТЕВКА
КАЖДОМУ НОВОМУ САМОЛЕТУ

Чью песню
небеса
высокую
пропели?
Окружье
описал
еще один
пропеллер!
Рабочие
ряды —
дружнее
и теснее:
то —
наших рук труды
поднялись к небу
с нею!
Крутого
виража
кидайте в воздух
крылья.
Он близок —
урожай
несметных
эскадрилий!
В лазури
синий лед,

туда,
где тают тучи,
взлетай,
наш самолет,
все круче,
круче,
круче!
Недаром
лил с нас пот
и гнулись
спины ночи:
он —
вот он,
вот он,
вот —
несется
и хохочет!
Лети
и хохочи,
распластывая
крылья,
про общий
наш почин,
про общие
усилья;
чтоб каждый
сдвиг руля
был точен
и рассчитан;
чтоб плыл ты,
вдаль руля,
нам общею
защитой;
чтоб пара
крепких рук
невидного
пилота
вела
высокий круг
всеобщего
полета;

воздушное
плато
чтоб было
голубое;
а ты —
чтоб вверх готов
всегда
без перебоя;
чтоб ты
всегда гремел
и выл
своим мотором;
чтоб длился
твой пример
бесчисленным
повтором;
чтоб,
крылья вверх воздев,
наш ум
и слух бодрили
возникшие
везде
раскаты
эскадрилий!

1930

ВСТУПЛЕНИЕ

1

Хоть и у тебя немало мокрых
свежих рощ — лишь щеки утирай, —
я тебя не славлю, курский округ,
соловьиный край.

Что мне вспомнить? Чем меня дарила
родина щербатая моя?
Рытые да траченые рыла —
пьяные дядья да кумовья.

Со времен забытого удела
на веки веков
здесь земля не струнами гудела —
громом волосатых кулаков.

Били в душу, душу выбить силясь,
а потом — иди ищи,
кто пустил густую кровь с потылиц,
чьей свинчаткой свернуты хрящи.

Поднимались, падали, сходились
городские против слободских,
плакали, судились,
торговали, и — не стало их.

Вновь родившись, петь пытались снова,
но, звериным воем захрипев,
из зубов, расшибленных с полслова,
выпадал напев.

И зари пустынное сиянье
над быльем постылого мирка —
над Путивлем, Суджей, Обоянью
гасло, отсверкав.

2

Бор дремучий над рекой гремучей —
это только песенный галдеж,
а на деле — не изловишь случай,
так и пропадешь.

А на деле — скривленные ивы,
серый свет, что будний день зажег,
Тускори, холодной и ленивой,
плоский бережок.

Что ж сказать на путь и на прощанье
вам, что, в темень времени сбежав,
все еще грозитесь мне, мещаньи
выселки с глухого рубежа?

Стойте ж да бывайте здоровеньки!
Вас не тронет лесть или хула,
Люшенка да Нижни Деревеньки,
тенькавшие в донь колокола.

Стойте крепче. Вы мое оплечье,
вы мои деды́ и кумовья,
вы мое обличье человечье,
курские края.

1926—1927

ДОМ

Дом стоял у города на въезде,
окнами в метелицу и тьму;
близостью созвездий
думалось и бредилось ему.
Било в стекла заревое пламя,
плыл рекой туман;
дом дышал густыми коноплями,
свежестью, сводящею с ума.
Он хотел крыльцом скрипучим дергать,
хлопать ставней, крышей грохотать;
дом хотел шататься от восторга,
что вокруг такая благодать;
что его, до стрех обстав, подсолнух
рыжей рожей застил от других,
точно плыл он на прохладных волнах
калачей и лопухов тугих.
Что с того, что был он деревянным,
что, приштопан к камню, в землю врос, —
от него тянулись караваны
свежих рощ и вороненых гроз.
Он кружился с ними, плыл и таял
и живущим помыслы кружил;
до него от самого Китая
долетали синие стрижи.
Он кружился и гримасы корчил,
млел огнями, тьмою лиловел,

и его ветров весенних кормчий
вел других ковчегов в голове.
А когда рябила осень лужи
и брало метелицей кусты,
дому становилось хуже:
он стоял примолкшим и пустым.
Только это — с улицы казалось,
а внутри он полон был и жив;
даже если вызывал он жалость,
сам себя, смеясь, ловил на лжи,
так как — зорь зарозовевший иней,
стекол заалмаженный узор,
вспыхивал и цвел, как хвост павлиний,
синей и зеленой бирюзой.
И, дымясь под первою порошей,
коренастый, тихий, небольшой,
он вставал опять такой хороший,
со своею дымчатой душой.
И, тепло запечное не тратя
и забив оконные пазы,
по косым линованным тетрадям
он твердил столетние азы.
И, такой же тишью невредимы,
заморозком взятые в тиски,
по соседству подымались дымы —
буден безголосые свистки.
В доме — плыли тени
кошки, кружки, фикуса, луны,
детских откровений и смятений,
тишины и старины.
Сквозь пазы растрескавшихся кафель
плыл жарок и затоплял края,
где басовый стариковский кашель
гул вливал в рассохшийся рояль.
В доме пели птицы —
сойки, коноплянки и клесты.
И теперь еще мне щебет снится,
зори, росы, травы и кусты.
И теперь... глаза бы не глядели,
уши бы не слушали иной,
кроме той передрассветной трели,

что будила детство за стеной.
И когда, тавровое мещанство,
я теперь смотрю тебе в глаза,
я не знаю, где я умещался,
кто мне это в уши насказал.
Может, в клетке, может, из-за прутьев,
горькой болью полный позарез,
в сны мои протискивался грудью
свежезаневоленный скворец?!
Потому не дни, не имена я, —
темный страх в подзорье затая,
лишь тебя по бревнам вспоминаю,
дом мой, сон мой, ненависть моя!

1926—1927

ДЕД

Травою зеленой одет,
лукавя прищуренным глазом,
охотничьим длинным рассказом
прошел и умолкнул мой дед.

Забросив и дом, и жену,
и службу в Казенной палате,
он слушал в полях тишину,
которой за подвиги платят.

Сверкала его «лебеда»
на двести шагов без отказа,
и зверю из черного лаза
двуногая мнилась беда.

Медведицы жертвенный рев,
на лапах качавшейся задних,
когда выступал медвежатник
из мрака безмолвных дерев.

И зимнею ночью он шел
с волками на честную встречу,
и ахало эхо картечи
по заимкам заспанных сел.

Какой там помещичий быт, —
он жил между сивых и серых,
в оврагах лесов и пещерах,
прошедших времен следопыт.

И я, его выросший внук,
когда мне приходится худо,
лишь злую подушку примну,
все вижу в нем Робина Гуда,

Зеленые волны хлебов,
ведущие с ветром беседу,
и первую в мире любовь
к герою, к охотнику — к деду.

1927

БАБКА

Бабка радостною была,
бабка радугою цвела,
пирогами да поговорками
знаменита и весела.

Хоть прописана в крепостях
и ценилась-то вся в пустяк,
но и в этой цене небольшой
красовалась живой душой.

Не знавала больших хором,
не училась писать пером,
не боялась ходить босой
по лугам, покрытым росой.

В тех лугах на ее на след
и набрел пересмешник дед.
Нашутил перед ней, рассмеял,
всеми росами насиял.

На колени пред ней упал,
из неволи ее выкупал.
И пошла она за него,
за курских глаз его синевой.

Так и жили они с тех пор,
губы в губы и взор во взор.
А поссориться доводилось, —
ненадолго хватало ссор.

Бабка радостною была,
бабка иволгою плыла
по-над яблоневыми ветвями —
мастерица на все дела!

Отглядела на синий лен,
отшумела под белый клен.
До сих пор в нее — над рекою —
соловьиный напев влюблен.

1927

МАЛЬЧИК БОЛЬШЕГОЛОВЫЙ

Голос свистит щегловый,
мальчик большеголовый,
встань, протяни ручонки
в ситцевой рубашонке!

Встань здесь и подожди-ка:
утро синё и дико,
всех здесь миров граница
сходится и хранится.

Утро синё и тихо,
солнца мокра гвоздика,
небо полно погоды,
Сейма сияют воды.

Пар от лугов белёсый
падает под березы;
желтый цветок покачивая,
пчелы гудят в акациях.

Мальчик большеголовый,
облак плывет лиловый,
мир еще занят тенью,
весь в пламенах рожденья.

Не уходи за это
море дождя и света,
чуй — кочаны капусты
шепчут тебе: забудься!

Голос поет щегловый,
мальчик большеголовый,
встань, протяни ручонки
в ситцевой рубашонке!

Огненными вихрами
сразу пять солнц играют;
счастье стоит сторицей,
сдунешь — не повторится!

Шелк это или ситец,
стой здесь, теплом насытясь;
в синюю плавясь россыпь,
искрами брызжут росы.

Не уходи за это
море дождя и света,
стой здесь, глазком окидывая
счастье свое ракитовое!

1930

ДЕТСТВО

Детство. Мальчик. Пенал. Урок...
За плечами телячий ранец...
День еще без конца широк,
бесконечен зари румянец.
Мир еще беспредельно пуст:
света с сумраком поединок;
под ногой веселящий хруст
начеканенных за ночь льдинок.
На душе еще нет рубцов,
еще мало надежд погребенных;
среди сотни других сорванцов
полувзрослый — полуребенок.
Но за годом учебный год
отмечает с различных точек
жизни будущего — господ,
жизни будущего — чернорабочих.
Дело здесь не в одних чинах,
не в богатстве, не в блюдах сладких,
а в наследье веков, в сынах,
в повторяющихся повадках.

Губернаторский дом был строг:
полицейский с тяжелой шашкой
здесь стоял, чтоб никто не смог
подлететь к нему мелкой пташкой.
За зеркальным окном — цветы:
пальмы, крокусы, орхидеи
из торжественной пустоты

смотрят в улицу, холодея.
Здесь смешны треволненье и стон,
проявленье волненья и боли;
здесь и самый свет затенен
мягким сумраком жирандолей.
Здесь слова недоступны нам,
объясненья сухи и кратки;
здесь нисходят по ступеням,
чуть натягивая перчатки.
У подъезда карета ждет,
и как будто совсем без усилья
пара серых с места берет
и летит, обдавая пылью.

Лишь дворянских выборов съезд
отражался в начищенной меди;
поднимались с належанных мест,
покидая берлоги, медведи.
Полторацкого номера
учащенно хлопали дверью:
эполеты и кивера,
палантины, боа и перья.
Все казалось сказкой иной,
из каренинского быта;
все вздымалось плотной стеной,
из алмазов и стали слито.
И от блеска этой игры
на уезд струилось сиянье:
так же жил и город Щигры,
то же делалось в Обояни.

Вот таков же и город Льгов,
инде звавшийся Ольгов-градом,
жил среди полей и лугов
отраженным губернским складом.
Через Сейм — деревянный мост,
место праздничных поздних гуляний;
соловьиный передний пост
на ракитовой лунной поляне;
а за ним, меж дубов, у ворот
Князь-Барятинского парка,

их насеяно невпроворот,
так что небу становится жарко.
Тут и там, и правей и левей,
в семь колен рассыпаются лихо, —
соловей, соловей, соловей,
лишь внимать поспевай соловьиха!
Соловьями наш край знаменит,
он не знает безделья и скуки;
он, должно быть, и кровь пламенит,
и хрустальными делает звуки.

Города мои, города!
Сквозь времен продираясь груду,
я запомнил вас навсегда,
никогда я вас не забуду.
Суджа, Рыльск, Обоянь, Путивль,
вы мне верную службу служили.
Вы мне в жизнь показали пути,
вы мне звук свой в сердце вложили.

1930

ГОРОД КУРСК

Город Курск стоит на горе,
опоясавшись речкой Тускорь.
Хорошо к ней слететь в январе
на салазках с крутого спуска.
Хорошо, обгоняя всех,
свежей кожею щек зазяблых
ощущать разомлевший снег,
словно сок мороженых яблок.
О, республика детских лет,
государство, великое в малом!
Ты навек оставляешь след
отшумевшим своим снеготалом.
Ты не сможешь ли сдунуть хмарь
над житьем, еще неказистым,
не позволишь ли стать, как встарь,
реалистом или гимназистом?
Не захлопнуть ли вновь урок,
сухомяткой не лезущий в глотку,
не пойти ль провести вечерок
на товарищескую сходку?

Открываются небеса
никому не известных далей.
Туго стянуты пояса
вкруг мальчишеских тонких талий.
Всякой хитрости вопреки, —

никому никаких поблажек, —
снова лечатся синяки
светлым холодом медных пряжек.
Снова вьется метель столбом.
Снова, вызвав внезапный румянец,
посвящают стихи в альбом
чьих-то дочек или племянниц.
Снова клятвы о дружбе навек,
вопреки расстояньям и срокам...
Подрастает, растет человек,
с этим главным считаясь уроком.
И курятся вокруг снега,
завиваясь в крутом буране,
и, вздымая времен рога,
подрастают мои куряне.

Не разгладить ли ветром бровь,
не припомнить ли вновь старинку,
не пойти ли сквозь вьюгу вновь
на товарищескую вечеринку?
Вы, из памяти навсегда
уходящие без укора,
собирайтесь вновь, города, —
моя истинная опора.
Вот он, форточку приоткрыв,
закурчавленную с мороза, —
это детской души порыв, —
сыплет зимней пичуге просо.
Пусть летит этих зерен град
снегирям и чижам на разживу.
Становитесь, все здания, в ряд,
по привычному вам ранжиру.
Пусть все улицы поведут
по намеченному маршруту,
огоньками и там и тут
освещая эту минуту.
Я опять на прямом пути,
на тропе своей стародавней,
на просторе, а не взаперти,
позабытых детских преданий!

Город Курск стоит на горе,
дымом труб дыша на морозе.
На зеленой зимней заре
хорошо в нем скрипят полозья.
От дыханья застывший пар
закурчавленных в иней бород;
ставший коробом, как у бояр,
на тулупе овчинный ворот.
От зари он — как вырезной,
как узором кованым шитый.
Старина в нем сошлась с новизной, —
обе полы времени свиты.

Сразу даже решить нельзя:
то ли клики в военном стане,
собрались ли в поход князья,
на базар ли спешат крестьяне.
Мягкий говор, глухое «ге»,
неотчетливые ударенья,
словно лебедь блуждает в пурге
и теряет свое оперенье.
Он забыл о лазурной судьбе,
он во мраке кончает скитанье,
он друзей призывает к себе
округленною глубью гортани.

Дорогие мои друзья,
я вас полным именем кличу.
Вы и впрямь до сих пор князья
и по стати и по обличью.
Вы не блеском своих дворцов, —
вы творцами были на деле,
вы на землях своих отцов,
как на княжьем престоле сидели!

Город Курск на веков гряде,
неподкупный и непокорный,
на железной залег руде,
глубоко запустивши корни.
Он в овчине густых садов,
в рукавицах овсяных пашен

не боится ничьих судов,
никакой ему враг не страшен.
Он над малой стоит рекой,
мочит яблоки, сушит груши
и не знает еще, что покой
будет навек его нарушен.
Он теперь опален огнем,
а тогда был так безопасен...
Как давно не бывал я в нем!
Как я многим ему обязан!

1930—1943

Запеваем! 1930

НОВАЯ «БУДЕННАЯ»

Лишь край небес подернется
каленой каймой, —
слетать бы мне, буденновцы,
до Дону домой.
Пока кружат без окрика
в степях кречета —
в далеком Сальском округе
бойцов сосчитать.

Конь вороной,
не стой подо мной,
лети — стелись без отдыху
донской стороной.
Беги, беги, Воронко, —
хорошая сторонка!
Сивый — буланый,
мелькай над поляной,
серый — каурый,
бурей лети!

Как низко звезды светятся
по-над головой,
блестят над Усть-Медведицкой
и над Таловой.

Не песней ли порадовать
тот памятный год —
к Царицыну, к Саратову
военный поход?

Земля была заплакана
и в дым спалена.
Цвела у Усть-Собакина
в полях белена.
Бойцам Буденной выпало,
покинув ребят,
ту белену повыполоть,
наотмашь рубя.

Гляди, теперь — просторные
какие поля,
а было — под Касторною
теснились, пыля.
И помнят наши кони
тот отблеск речной
на саблях, у Воронежа,
в атаке ночной.

Звезда над Доном тихая,
пылай и светись.
Он пал, и нашей пикою
пронзен бандитизм.
Как всюду, в Сальском округе
полей тишина,
и над полями мокрыми
звезда зажжена.

А звезды тут охапками —
совсем не пустяк —
буденновскими шапками
мелькают в кустах.
Как будто из туч их
на Дон и на Сал
поземок летучий
в посев набросал.

Здесь враг до корня вырван
и сник, затаен.
Весь коллективизирован
Сальский район.
Деньки скупы и поздненьки,
густы вечера,
а были те колхозники
бойцами вчера.

Трактор стальной,
    стань передо мной,
разом тяни
    лемеха с бороной.
Трудись, трудись, Воронко, —
    веселая сторонка!
Сеялки, косилки —
    рабочие посылки,
жатки, молотилки —
    дешевой ценой!

А если враг нацелится
затронуть колхоз,
опять ряды разделятся
мастями полков.
Лишь нам свою защиту,
страна, поручи, —
у нас удар рассчитан,
клинки горячи.

Конь вороной,
    не стой подо мной,
лети — стелись советской
    большой стороной.
Беги, беги, Воронко, —
    хорошая сторонка!
Сивый — буланый,
    мелькай над поляной,
серый — каурый,
    бурей лети!

1930

КОМСОМОЛЬСКОЙ ЛОДКЕ-ПОДВОДКЕ, ЕЕ БЕСШУМНОЙ ПОХОДКЕ

Подводка-лодка,
укрывшись под водой,
будь самой верткой
и самой молодой.

Молодка-лодка,
упорная комса,
пучину моря
турбинами кромсай.

Большая стройка
идет на берегу;
ее на море
линкоры стерегут.

Но хоть линкоры
и очень здоровы,
а не сносить им
без лодки головы.

Лишь враг нахлынет
громадой броневой —
глазок надводный
нам скажет про него.

Все выше, выше
давление воды;
все чаще, чаще
дыхание в груди.

Но ты, кто робок,
и слаб, и глуп,
за нами не пытайся
в морскую падать глубь.

Чье солнце светит
над ширью водяной,
того не запугаешь
могилой ледяной.

Густые тени
над нами наверху,
а мы приникли
к зеленому мирку.

В броню укутан
мир старых дел и числ;
огня укусом
взрывать его учись.

За кем победа?
Над нами — враг стеной, —
вонзай, торпеда,
свое веретено!

Теперь, линкоры,
вперед, на равный бой;
пусть волны — горы,
и в борт гремит прибой.

Рванемся к свету
и — наша даль видна,
ей песню эту
мы вынесем со дна.

1930

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ АРМИИ

Убийц вереницы
сдержав пред собой,
на нашей границе
упал часовой.

За далью читинской
зеркальной струей,
блеснув, ощетинься,
штыков острие.

Вперед, Особая
Дальневосточная,
на звуки вражеской пальбы,
и банды белые
гони настойчиво
за пограничные столбы!

Несутся слухи,
врагов гоня, —
товарищ Блюхер
взнуздал коня.

На нашем флаге —
зари лучи.
Сумбейский лагерь
мы выручим.

Склонись над патроном,
боец рядовой.
Вовек мы не тронем
Китай трудовой.

Но милитаристский
продажный Китай —
лишь сунется близко, —
в штыки раскидай.

За ихней спиною,
жадна и дика,
грозит войною
иная рука.

Как прелые листья
нагих ветвей,
империалистов
откинь и отвей.

Цепь наших линий
от бурь и бед —
Сихотэ-Алиний
хранит хребет.

Пускай нам хмуро
грозят войной,
мы у Амура
стоим стеной.

Вперед, Особая
Дальневосточная,
на звуки вражеской пальбы,
и банды белые
гони настойчиво
за пограничные столбы!

1929

ВСТРЕЧА

Ах, какого парня
я встретил в январе:
шинель кавалерийская
и шашка в серебре.

Шинель кавалерийская —
широкая пола —
на все крючки застегнута,
подтянута была.

Походкой непривычной,
тяжелою стопой
вошел он в дверь уверенно,
как паровоз в депо.

И, может, новой песни
природа такова, —
но стало сразу празднично
в трамвае буквы А.

Шел вагон, тянулся
до Сретенских ворот...
Ко мне он повернулся
вполуоборот.

Скул его добротный,
устойчивый загар,
должно быть, начинал еще
обветривать Чонгар.

А шашку, что любовно
и бережно он нес,
как будто в искры крупные
облицевал мороз.

Его фигуры складной
осанистый отвал,
должно быть, проверяли
позиции ОДВА.

Уверенно и крепко
сидел он, туг и прям,
и лишь над белой бровью
змеился рваный шрам.

К нему со словом ласковым
хотел я подойти,
чтоб ближе познакомиться
в коротеньком пути.

Да только растерялся
в подборе нужных слов,
пока трамвая скрежетом
нас к Сретенке несло.

Ну, чем его почту я
и что ему спою,
все песни отстоявшему
в решительном бою?

А что до этой повести, —
он знает — видит сам,
какие взмыли новости
к советским небесам.

Но если б эту встречу
опять бы мне в глаза,
я — руки бы на плечи
и так ему сказал:

«На свете есть другие
знамена и полки,

туземных легионов
тяжелые белки.

Шотландские волынки,
нашивка и шеврон,
угрюмой дисциплины
казенное тавро.

Но те, чьи руки знают
рабочий толк в вещах, —
повсюду в мире помнят,
кого ты защищал.

И этот шрам надбровный
и твердая шинель
погонов и шевронов
им ближе и ценней.

А ты — правофланговый
тех армий навсегда,
чье вечное сиянье —
алая звезда».

И, может, новой песни
природа такова,
что нужно ей отыскивать
особые слова,

Что хочется приветствовать
теплее и добрей
шинель тяжелополую
и шашку в серебре.

1930

ОТ БЕЛЫХ ЛАП

Мы Красной Армии
праздник празднуем.
Они ревут
про опасность красную.
Взять бы спросить их:
где она,
в чем она?
В том,
что штыков граница не сломана?
В том,
что нельзя всей бандой кинуться
на вооруженного
осоавиахимовца?
Лисьей морде —
беда уколоться
об наёженного
краснофлотца?
Пышной шкуре
страшно разлазиться,
если напорется
на осназовца?
Наша ли вина,
что у нас имеются
против фашистов —
красноармейцы?

Смиряя взоры лютые,
стоим мы в ряд,
великой революции
живой отряд.
Спокойной силе радуясь,
наш строй не слаб
граненою оградою
от белых лап.
За нашею стеною —
поля в росе,
за нашею спиною —
страны посев.
Высокою ценою
мы ценим труд,
за нашею стеною —
рабочий люд.
Спокойной силой радуя
того, кто слаб,
стоим стальной оградою
от белых лап.
Они бы рады ринуться
под рев гранат,
да нас от их зверинца
штыки хранят.
Стоим оградой четкою
и каждый миг
готовы за решетку
отбросить их.
Им — смерть хотелось кинуться
на осоавиахимовца,
да страшно напороться
на краснофлотца.
Спокойной силой радуя,
наш строй не слаб, —
стоит стальной оградою
от белых лап.

1930

БЕЛЫЙ БЕРЕГ

1

Оторочена Висла
в голубые снега.
Кто убит, а кто выслан
за ее берега.

Запорошены ивы
молодой сединой,
и меж них горделиво
влит дворец ледяной.

Хочет Висла к Дунаю
занемелой струей,
но кора ледяная
не пускает ее.

Хочет Висла от дому
к Дону — в дружбу она,
но морозу седому
в дань волна отдана.

Хочет Висла к Дунаю,
к Волге в гости потечь,
но, сверля и стеная,
ей вдогонку — картечь!

К Уяздовской аллее
не пробиться воде, —
точно череп, белея,
просквозил Бельведер.

Стихотворные стопы,
раскаляйтесь в огонь!
Кто же Вислу растопит
необутой ногой?

Если ветлы не смыслят,
берега не поют,
все равно — не на Висле
будет панства приют.

Полетят эти стекла
в ледяные глаза.
Висла кровью промокла,
и не течь ей назад.

Белоснежье, безлюдье, —
жизнь за сломанный злот.
Висла сдавленной грудью
дышит тяжко и зло.

Но от Сана до Вепржа —
пар по полой воде.
Будет сдвинут и свержен
голубой Бельведер.

2

В это время
в польском сейме
между фракциями
всеми
происходит
жаркий спор.
Заболел
премьер Дашинский, —

маршал —
дверью не ошибся:
зазвенели
блестки шпор.
Входит в зало
пан Пилсудский,
аж подвески люстр
трясутся,
аж паркет
скрипит в пазах,
аж хребет
у шеи хряснет —
все заранее
согласны,
что б вельможный
ни сказал.
Неподвижны
Вислы воды.
Ждут пилсудчики
у входа;
им попробуй —
поперечь!
Полны лоска,
полны блеска,
палаши сверкают
веско —
пана маршала
сберечь.
Длится
маршальская пьеса...
На скамьях
у ППСа,
заслонив
в ладонь лицо,
депутаты
жмутся кругом,
если маршальская
ругань
им в глаза
летит свинцом.

Кончен панский
пышный говор,
и, не ждя
конца другого,
маршал
в дверь спешит,
угрюм...
Оседает
пыла порох,
и в молчании
на хорах
возникает
легкий шум.
Двери
маршалу откройте...
«Смирно!» —
караульной роте.
«Ви́ват!» —
маршалу вдогон.
Кто ж диктатору
ответит,
если солнце
в Польше светит
ниже
маршальских погон?!
Кто от волн,
полей
и просек,
кто от лодзинских
гудков?
РОСЯК!
Как над нами,
так над ними —
в спину маршалу
поднимет
это тонкое древко.
И впервые
в польском сейме
надо льдами
надо всеми,

развевая гнев
и стыд, —
и над ними,
как над нами, —
алошелковое
знамя,
расстилаясь,
шелестит!
Разве сейм —
глухие тропы?
Разве осмелели
хлопы?
Разве снег
не бел, не чист,
что, как в искрах
над фольварком,
неожиданно
и ярко,
обожжен огнем
фашист?
Чует Лодзь,
и чует Краков:
значит — тает лед,
заплакав,
значит — лед
не леденит, —
завтра ж,
хлынув по угодьям,
Висла
вольным половодьем
рукава
соединит!

1930

ДНЕПР ПОШЕЛ ВЛЕВО

1

Загородили
Днепру дорогу
девять порогов.
Верхнеднепровью
к нижнему плесу
выход отрезан.
Лег он, разрубленный,
серой змеюкой,
чаек баюкать.
К Черному морю,
к вольному свету
доступа нету.

2

Сжал его ладонью узкой
Сурский;
по своей ведет указке
Лоханский;
водяною занавеской
скрыл Звонецкий;
головами, волны, гнитесь
через Ненасытец;
рассыпайтесь в прах бессильный
через Вильный!

3

Как возникает
клинок из сплава,
из бурь — матрос,
так из
Екатеринослава —
Днепропетровск.
Где прежде прыгал
Днепр, опорожен,
порогам в пасть,
где волны пеной
по Запорожью
гремели всласть,
где прежде горю
нужда платила
последний грош, —
там над камнями
растет плотина
во влажь и дрожь.
Чтоб Днепр не только
в блестящих брызгах
на много миль, —
чтоб наших дней
больших и близких
сияла быль;
чтобы не в память
борьбы казацкой
скреблось весло, —
чтоб наше
новое хозяйство
на нем несло,
чтоб разобщенной
водной массы
седую нить
рукою
выросшего класса
соединить!

4

Горечь,
и ярость,
и силу потока,
бившего
судорожным ключом,
мы перекладываем,
как винтовку, —
с плеча
на плечо.
Кипень,
и пену,
и тяжесть движенья
водных белков
мы перебрасываем, —
как в сраженье
силу полков.
В остров большой
уцепившись бетоном
с той
и с другой
стороны,
мы побеждаем, —
не никнем,
не тонем
в глубь старины.
Правую сторону
загородивши
во всю ширину, —
слышим,
как волны
взмывают и дышат,
влево свернув.
Вод победительных
блещущим грузам
будет итог:
мы, управляя
трехкамерным шлюзом,
двинем поток!

5

Повышай свои ресурсы,
Сурский;
заливай воды богатство,
Лоханский;
трепещи, взволнован блеском,
Звонецкий;
глуби полные, неситесь
через Ненасытец;
волнитесь —
через Вольницкий;
водяной попоной пышной
и обильной
заливайте — Лишний
и Вильный!

1930

ТУРКСИБУ

Силам Турксиба
громовое СПАСИБО,
всем сообща
и в особицу!
В радость
и в гордость
до плеч вас осыпав,
к вам
эти строчки
торопятся.
Прочные нервы
нового строя
миру
на удивление —
от инженера
до землероя:
наше вам
поздравление!
Орден Красного Знамени —
жарок —
солнцем всходит
на вашей груди.
Вейся же,
первая песня-подарок, —
тысячи песен о вас
впереди!

Туркестан — Сибирская
железная стезя
протянулась,
быстрая, —
грустить с тобой
нельзя.
Тяжесть сбив
огромную
над ста́рью-стариной,
загудела
ровною
чугунною
струной.
Жизнь новым
редко балует
каждого из нас,
а тут —
над каждой шпалою
сверкает
новизна.
С дороги нашей,
нытики!
Не вешать
головы!
Вы видите:
все винтики,
все гайки
здоровы.
Туркестан — Сибирская
железная стезя,
кружи колеса
быстрые, —
грустить с тобой
нельзя.
Гнусили нам:
не выдержим
распалки
до огней,
а *там,*
и пот не вытерши,
работали над ней.

Работа шла
далеко,
вдали
от пышных фраз, —
ее кончать
до срока
велеть изволил
класс.
И вот она —
под флагами
в тридцатом году
спешит,
едва подрагивая,
на полном
на ходу.
Попыхивает ласково
эхо в горах
колонной первомайскою
на всех
на парах.
Трехлетья
трудной тягою,
напористым рывком
пошла
разрыв затягивать
меж хлебом
и хлопком.
Зафыркав водокачками,
тишая
по мостам,
пошла
бока покачивать —
товарный
свой состав.
На бой
с ханжою на́божным,
раскидывая шлак,
пошла, пошла,
пошла, пошла,
поехала,
пошла!

На радость
множеств кепок,
на злобу
редких шляп
постукивать
по степи
потопала,
пошла.
Зафыркав водокачками,
тишая
по мостам,
поехала
покачивать
тяжелый
состав.
С ровных колес —
глухой перегуд,
железом колес —
на горло врагу,
на помощь друзьям,
на радость друзьям,
нужды и бесправья
горбы разгрузя.

1930

ГОРОД

Дома, домины,
домища, домки,
литые камины,
тугие замки;
там жили гладко,
денек к деньку,
молясь с оглядкой,
копя деньгу.
Дворы со псами:
чужой не ступи! —
Завыли б сами
на толстой цепи.
Попал в застенок —
кричи не кричи:
стена толстенна,
крепки кирпичи.
Старинным стилям
дивился глаз,
стояли, стыли,
давили нас...
Веселой силой
статна и горда,
республика строит
свои города.
Растут в высоты
рабочие соты,
над флигелями дохлыми
сияют стеклами.

Старый вид
страна потеряла,
бьется-кипит
борьба матерьяла.
Новый хозяин
пришел и решил:
эти фасоны
для нас хороши!
Четкий профиль
и ровный тон
дают кварталам
стекло и бетон.
Свободны они
от пыли и грязи:
протрешь стекло —
и конец заразе.
В этаком здании
великаньем
неловко
пьянствовать и хулиганить;
за стеклами
просквоженными
стыдно
скандалить с женами.
Видны друг другу
вконец насквозь,
станем знакомы
со всей Москвой.
Конец
причудам и прихотям —
на люди
бытье свое выкатим.
По тротуарам —
люд бодр,
места нет
для вихляния бедер.
Хмуро ворча:
«С какой это стати?» —
жмется
прежних домов
обитатель.

Губки свои
поджимая брюзгливо,
щепка
плывет весенним разливом;
места нет,
где гамашу поставить:
поджимай, поджимай,
а не то отдавят!
На тротуаров
обочины
их вытесняют
рабочие.
Шея к плечам
привинчена крепко —
густо идет
фабричная кепка.
Дома, домишки —
купецкий уют —
нашим
подмышки
не достают!
Стояли, стыли,
дивили глаз, —
со старым стилем
покончил класс.
А что осталось
от старых времен, —
и самую старость —
мы пустим в ремонт.
Все, что добыто
трудом и умом
для нового быта —
в новом самом, —
от самых низов
до самых высот
рабочий
поднимет
и донесет!

1930

«ДИНАМО»

Англия —
страна спорта,
Англия —
страна машин,
Англия —
страна гордых
и закаленных
мужчин.
Таких гордых,
таких закаленных,
что кажут кулак —
еще из пеленок.
Выдвинет челюсть,
сожмет кулачонок
и не боится
ни красных, ни черных.
Едва в рубашонку
ребенок облекся, —
уже готов
для футбола и бокса.
Растет, упражняясь,
упрямый и ловкий,
в ежеутренней
тренировке.
Разведет себе в стороны
плечи,
выжмет гирю —
и крыть его нечем.

Видя мощный
груди размах,
каждый
в страхе
поник и размяк.
Встал сагиб,
откушав свой пóридж, —
не затронешь его,
не заспоришь!
Нет на памяти случая —
кем бишь
был побит
Оксфорд или Кембридж?
Крепче стали,
свежей, чем пион,
за чемпионом
встает чемпион.
Тут уж стой —
да вернее лишь целься
в черномазую
челюсть Уэльса.
Тут сомкнись лишь
пышной гирляндой —
и владычествуй
над Ирландией.
Жми —
и будет чувствовать индус
общей
воли и мускулов
синтез.
И в ином
успокоятся лоне
тени
гнущих спину колоний...
И вдруг —
оскорбительнейшим пятном
возник для них
манеж на Цветном!
Спортом,
что был припасен
про богатых,

овладел
рабочий простой.
Вот где
подлинный центр пропаганды,
вот где
злостный ее отстой.
Машет
выгнутыми тенями
гимнастический зал
«Динамо».
Крепость тел
и упругость линий,
разрезая воздух
свежо,
грохоча пружиной
трамплиньей,
раз за разом
взвивает прыжок.
Джентльмены ли это
в трусиках,
выгибаясь,
на кольцах крутятся?
Представители ль
высшей расы
фехтованьем
звенят о кирасы?
Для чего им,
скажите,
учиться
боксу,
выпаду,
джиу-джитсу?
Англия, Англия,
как ты терпишь
этих
безбожников и мерзавцев?
Ведь забьют
и Оксфорд и Кембридж,
если
придется им состязаться!

Разве твое сердце
не захолонет,
если
из-под снежного наста,
из —
возможных —
твоих колоний
поднимаются
торсы гимнастов?!
Разве можно
терпеть безмолвно,
лишь улыбкой
небрежной щелясь,
если
бьют большевистские волны
под тренированную
челюсть?
Ноту скорее!
Да что там ноту!
Роту живее!
За ротой роту!
Кончись,
молчанье бессильной яри,
толпы,
от лязга оружья
редей!
Он обнаружен
на бывшем бульваре —
центр пропаганды.
здоровых людей.
Зная
мускулов их богатство,
отвечаем им
не без робости:
«Где уж нашим
с вами тягаться —
курса нет у нас
твердолобости.
Быть здоровыми —
привычка наглая

и подрывающая
престиж,
но все-таки,
может быть,
ты нам простишь,
Англия —
страна спорта,
Англия —
страна машин,
Англия —
страна гордых
и вытренированных
мужчин!»

1929

СТОЙ, ТОВАРИЩ, ДЕРЖИСЬ, НЕ СВАЛИСЬ, НА ПЬЯНЫХ НОГАХ НЕ ВОЙДЕШЬ В СОЦИАЛИЗМ!

1

Глянь — пьяница:
в руке склянница,
слюна вожжой
с губы тянется.
Как свекла,
нос румянится,
фонарям-столбам
привык кланяться.
Того и жди —
в лужу грянется,
бревном на пути
останется!

2

От этих
бревен
наш путь
не ровен.
Развалились
на пути —
ни проехать,
ни пройти.

Неужели ж
этот бред
не прикончим
в Октябре?!
Пьяны оба
по горлышко,
идут с Петром
Егорушка.
Один рваненький,
другой голенький,
и оба-два —
алкоголики!
Обходишь их
с опаскою
кураж-гульбу
кабацкую:
«Не лезь ко мне
с кормёжкою,
греми за мной
гармошкою!
На кой она мне,
жизнь трезвая,
я, может, ею
брезгую!
Могу упасть,
свалиться я,
держи меня,
милиция!
Повалимся —
опять встаем,
и льем,
и пьем,
и в донце бьем».
Пьяны оба
по горлышко,
идут с Петром
Егорушка.
Один рваненький,
другой голенький,
и оба-два —
алкоголики!

3

Давнего быта
черный яд
их замашки
в себе таят.
Дымным бредом
мозг отравив,
прошлое бродит
в ихней крови.
Прежде пили
с какой целью?
Для развязности,
для веселья!
Пили, чтоб в тело
дрожь не вползала
через сырые
стены подвала.
Пили, закусывая
соленой коркой,
чтоб позабыться
от жизни горькой.
Пили, тянули
штофы сивухи
от бесправья
да от голодухи.
Те же,
кто были сильны да сыты,
напивались с жиров,
паразиты!
У нас не от жиру,
у нас не от горя, —
так отчего ж
разливанное море?
Ноги сгибая
прелою ватой,
бродят с улыбкой
придурковатой.
Лучше и крепче
одежда и пища,

выше и чище
наше жилище.
Жизнь не бесцельна,
нравы не грубы —
нас развлекают
театры и клубы.
Что нам поделать
круто с собою,
чтобы предел
положить запою?
Не относиться
к этому с легкостью,
не становиться
с усмешкой над пропастью.
Бей
спиртоносов «запасы»
о камень,
не позволяй
к ним тянуться руками.
Вырви из рук
у больного яд,
не загоняй ему
в глотку заряд.
Нет, не просто они —
спиртоносы,
а нашему делу они —
смертоносны.
И не кивай,
что есть, мол, в продаже
в каждой лавке
товар на спирту:
государство
не может приставить стражи
к каждому
раскрытому рту.
А общество — может,
заштопав им рот,
пьяные рожи
поставить во фронт!

4

Смирно!
Октябрь,
наступай им на глотку,
тем,
кто сменил нашу радость
на водку.
Тем,
кто верит,
что высшую радость
может доставить
лишь крепкий градус.
Тем,
кто шаг наш,
прочный и веский,
хочет расшатывать
пьянкой мертвецкой.
Помни,
что наш парад в Октябре
в ясности трезвой
погоды осенней, —
свежестью ветра
обдуй и развей
пьяную хмель
былых воскресений.
Мы
не камаринские мужики,
чтоб допиваться
до голого пуза.
Двери открыты для нас
широки
клуба,
спортивного зала
и вуза.
Так неужели ж
все это пропьем —
наши возможности
и достиженья, —

выросши диким,
ненужным репьем
в общем подъеме,
полете,
движенье?!
Нет,
это не рассужденья пустые, —
голос мой,
крепни вдвойне
и втройне!
Нет!
Не потонет
Россия,
захлебнувшись
в зеленом вине!

1930

О НАРОЖДАЮЩЕМСЯ БЫТЕ, ПОЭТЫ, В РАДИО ТРУБИТЕ!

Вот пример,
понятный для всех,
того,
что старому быту
крышка:
в Днепропетровске
на целый цех
всего одна
расчетная книжка.
За этой,
по виду непышною,
фразой —
событья,
каких не представишь сразу.
Это значит,
что каждый ребенок
будет чувствовать
с самых пелен,
с самых нежных
помнить
губенок,
что заработок
обобществлен.
Это значит,
что горькую думку,
больше не надо
прятать в рюмку;

в общий порядок —
стройный устав
тому,
кто с работы приходит,
устав.
Это значит —
не жить потихоньку,
страхи свои
свалив под иконку.
Жизни силу
удвой и утрой,
рост производства,
общий контроль.
Это значит —
коммуны корпус
клином
в хибарке соседней вбит,
и в нем,
от древних сводов
не горбясь,
обновленный
рождается быт.
Это значит —
не в пиве намокла
всклокоченная
борода, —
просторные парки,
высокие стекла,
социалистические
города.
Это...
Да мало ли
что это значит:
ведь строй его
только намечен
и начат.
А тонкость
его подробностей прочих
не впишешь
и в тысячи
пламенных строчек.

Товарищ!
Мы нового часто не чуем,
мы в старых повадках,
как в путах,
кочуем.
Но если ты хочешь,
чтоб он подрос,
додумай,
что начал Днепропетровск.

1930

ДВА ЛИЦА

В Европе — иное обличье у женщин,
опетых, ославленных в звон серенад.
У наших и взгляды и руки пожестче,
и плеч повнушительней ширина.

Но часто у многих нестойких душонок
фантазию думы иные томят
о тех — разузоренных и раздушенных,
окрашенных в зори румян и помад.

А наши красивее и молодее,
стоящие крепко в рабочем строю,
фальшивят и портят — подделать радея
под ихние моды наружность свою.

Постельным товаром там взоры влекутся,
там люди — на вывесках модных витрин,
там все устремленья одежды и вкуса
к тому, чтоб друг друга перехитрить.

А наши смотрины в движенье, в работе,
в полях и станках человечества смотр.
Нам некогда лоб свой морщиной заботить
о новых причудах изменчивых мод.

Пускай утверждается новый обычай,
и женщины новой блистательный день
пускай освещает двух женских обличий,
двух профилей женских упрямую тень.

Одна — в ресторане дымит папироской,
прельщая мужчин золотые рои.
Другая — фигурою Софьи Перовской
к себе привлекает иных героинь.

С кем ты? С той, что в овальной гостиной
самкой глупеет в курином раю,
или с Надеждою Константиновной
строит республику свою?

Пока волос густота не редела
и время не врыло в морщины резец,
решай: им ли нас переделать,
или мы их — на свой образец.

1930

КОМУ ВПРОК
ПРОГУЛОВ ПОТОК?

Наши убытки
                на радость врагу.
Кому помогает
                растущий прогул?

На него надеются —
белогвардейцы.
Жестом привычным
на него указывая,
рабочим заграничным
грозит буржуа́зия.

Чтоб массы с ними
                хоть временно ладили,
прогулом козыряют
                социал-соглашатели.

Попы и монахи
                сияют, галдя:
мол, весь СССР —
                сплошной разгильдяй.

Кулаки
        и вредители —
прогулам
        родители.

Светит тускло
в ихнем кругу
надежда
на злостный прогул.

Пьянице —
нужно опохмелиться,
опохмелившийся —
в луже простерт;
в то время как нянчится
с пьяным милиция,
громиле и вору —
полный простор.

Простоем станка,
привычкой к вину —
ты сам остаешься
во вражьем плену.

Себя оцени
и прикинь на другом:
с Союзом в союзе ты
или с врагом?!

1930

ИЗ РАБОЧЕЙ ГУЩИ ВЫЛЕТАЙ, ПРОГУЛЬЩИК!

Солидарность рабочих —
великая вещь!
Ею сильна
рабочая масса,
но,
скрывшись за нею,
трудом пренебречь
лентяи и пьяницы
часто стремятся.
И лучших рабочих
нередко с пути
сбивает
соседа ухмылка кривая:
все, мол, мы слабости
победим,
друг дружке
потворствуя
и потакая.
Помни, дескать,
рабочий цех, —
все за одного
и один за всех!
И смотрит сквозь пальцы
слюнтяй и добряк
на убыль продукции,
порчу и брак,
оставляя
без внимания

ее уменьшение
и удорожание.
Но,
ход трудовой дисциплины нарушив,
задумавший скрыться
молчком да тайком,
прогульщик
все равно обнаружен
вскочившим в расценку
волдырь-пятаком.
И мелкий прогул,
как на шее чирей,
здоровую кожу
разъев по зерну,
в гнойник расползаясь
все шире и шире,
стране
не дает головы повернуть.
Ничтожной хвори
мелка лихорадка,
а,
весь организм сотрясая,
грозит
как правила
внутреннего распорядка,
так все наше дело сорвать —
паразит!
Плоха сноровка
в руках небрежных;
сырье сжигает
и рвет, губя,
как будто работаем мы
на прежних
хозяев,
а не на самих себя!
А если вмешаться
приходится спецу
за то,
что портится инструмент,
ему
на хвост насыпают перцу,

как будто он
надзиратель в тюрьме...
С похмелья
у котла заснет машинист —
несчастье на заводе
возьми и учинись.
Пока он здоровье
во сне экономит —
гляди,
куда стрелкой
махнул манометр!
Пока высвистывает
его ноздря,
себя
и других
он погубит зря.
Чтоб не стряслось
этого в жизни, —
заранее соню такого
взбрызни!..
Товарищ!
Встань
и вокруг погляди-ка, —
твоя рука
над страною владыка,
Кроме этой
руки твоей —
делу
не на что
полагаться.
Разгони ж
с производств
и развей
пьянство,
распущенность
и хулиганство!

1930

ПОРА
ПРОЧИЩАТЬ РУПОРА!

Чтобы наша
радиосеть
прочно в сини
могла висеть,
чтоб не застлало
раструб певучий
мягкой и липкой
тканью паучей, —
проводи —
до последнего гвоздика —
полную чистку
радиовоздуха!

Не гостиная
приемов поздних —
площадь пустынная,
полночь в звездах.
А из рупора,
пенясь бурно,
голос льется
колоратурный.
То взвоет глухо,
то взвизгнет пряно,
в любви загробной клянясь,
сопрано.
Все реже и реже
трамваев скрежет, —

сопрано арии
длятся все те же.
Интересно знать,
кому это надо —
ария эта
или баллада?
Спать полег
трудовой народ,
а оно —
все орет и орет.
Мигнули и сгинули
звезды редкие, —
все та же ария,
что слушали предки.
Совсем побледнели
звезд фонари, —
неужто
будет выть до зари?

Над стуком
тысячей веретен
речь начинает
с утра баритон.
Слова большие,
а голос фальшивит.
Известия тянутся
сыро и вязко,
расслаблен здоровьем диктор
и плох.
Но чуть запоют
о «глазках и ласках», —
откуда взялись
и блеск и тепло?!

Предлагаю немедленно,
детки,
составить арии
о пятилетке.

1930

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

Володя!
Послушай!
Довольно шуток!
Опомнись,
вставай,
пойдем!
Всего ведь как несколько
куцых суток
ты звал меня
в свой дом.
Лежит
маяка подрытым подножьем,
на толпы
себя разрядив
и помножив;
бесценных слов
транжира и мот,
молчит,
тишину за выстрелом тиша;
но я
и сквозь дебри
мрачнейших немот
голос,
меня сотрясающий,
слышу.
Крупны,
тяжелы,
солоны на вкус

раздельных слов
отборные зерна,
и я
прорастить их
слезами пекусь
и чувствую —
плакать теперь
не позорно.
От гроба
в страхе
не убегу:
реальный,
поэтусторонний,
я сберегу
их гул
в мозгу,
что им
навеки заронен.
«Мой дом теперь
не там, на Лубянском,
и не в переулке
Гендриковом;
довольно
тревожиться
и улыбаться
и слыть
игроком
и ветреником.
Мой дом теперь —
далеко и близко,
подножная пыль
и зазвездная даль;
ты можешь
с ресницы его обрызгать
и все-таки —
никогда не увидать».
Сказал,
и — гул ли оркестра замолк
или губы —
чугун —
на замок.

Владимир Владимирович,
прости — не пойму,
от горя —
мышленье туго.
Не прячься от нас
в гробовую кайму,
дай адрес
семье
и другу.
Но длится тишь
бездонных пустот,
и брови крыло
недвижимо.
И слышу:
крепче во мне растет
упор
бессмертного выжима.
«Слушай!
Я лягу тебе на плечо
всей косной
тяжестью гроба,
и, если плечо твое
живо еще,
смотри
и слушай в оба.
Утри глаза
и узнать сумей
родные черты
моих семей.
Они везде,
где труд и учет,
куда б ни шагнул,
ни пошел ты.
Мой кровный тот —
чья воля течет
не в шлюз
лихорадки желтой.
Ко мне теперь
вся земля приближена,
я землю
держу за края.

И где б ни виднелась
рабья хижина,
она —
родная,
моя.
Я ночь бужу,
молчанье нарушив,
коверкая
стран слова;
я ей ору:
берись за оружье,
пора,
поднимайся,
вставай!
Переселясь
в просторы истории,
перешагнув
за жизни межу,
не славы забочусь
о выспреннем вздоре я, —
дыханьем мильонов
дышу и грожу.
Я так свои глаза
расширил,
что их
даже облако
не заслонит,
чтоб чуяли
щелки, заплывшие в жире,
что зоркостью
я
знаменит.
Я слышу, —
с моих стихотворных орбит
крепчает
плечо твое хрупкое:
ты в каждую мелочь
нашей борьбы
вглядись,
не забыв про крупное.

Пусть будет тебе
дорóга одна —
где резкой ясности
истина,
что всем
пролетарским подошвам
родна
и неповторима
единственно.
Спеши на нее
и крепче держись
вплотную с теми,
чье право на жизнь.
Еврей ли,
китаец ли,
негр ли,
русский ли, —
взглянув на него,
не бочись,
не лукавь.
Лишь там оправданье,
где прочные мускулы
в накрепко сжатых
в работе руках.
Если же ты,
Асеев Колька,
которого я
любил и жалел,
отступишь хоть эстолько,
хоть полстолько,
очутишься
в межпереходном жулье;
если попробуешь
умещаться,
жизни похлебку
кой-как дохлебав,
под мраморной задницею
мещанства,
на их
доходных в меру
хлебах;

если ослабнешь
хотя б немножко,
сдашь,
заюлишь,
отшатнешься назад, —
погибнешь,
свернувшись,
как мелкая мошка
в моих —
рабочих
всесветных глазах.
Мне и за гробом
придется драться,
мне и из праха
придется крыть:
вот они —
некоторые
в демонстрации
медленно
проявляют прыть.
Их с места
сорвал
всеобщий поток,
понес
из подкорья рачьего;
они спешат
подвести мне итог,
чтоб вновь
назад поворачивать.
То ли в радости,
то ли в печали
панихиду
по мне отзвонив,
обо мне, —
как при жизни молчали,
так и по смерти
оглохнут они.
За ихней тенью,
копя плевки, —
и, что
всего отвратительней, —

на взгляд простецкий,
правы и ловки —
двудушья
тайных вредителей.
Не дай им
урну мою
оплюнуть,
зови товарищей
смело и громко.
Бригада, в цепи!
На помощь, юность!
Дорогу
ко мне
моему потомку!
Что же касается
до этого выстрела, —
молчу.
Но молчаньем
прошу об одном:
хочу,
чтоб река революции
выстирала
это единственное
мое пятно.
Хочешь знать,
как дошел до крайности?
Вся жизнь —
в огневых атаках
и спорах, —
долго ли
на пол
с размаху грянуться,
если под сердцем
не пыль, а порох?
Пусть никто
никогда
мою смерть
(голос тише —
уши грубей),
кто меня любит,
пусть не смеет

брать ее...
в образец себе.
Седей за меня,
головенка русая,
на страхи былые
глазок не пяль
и помни:
поэзия — есть революция,
а не производство
искусственных пальм».
...Смотрю
на тучу пальто поношенных,
на сапогов
многое множество...
Нет!
Он не остался
один-одинешенек.
И тише
разлуки тревогой
тревожусь.
Небо,
которое нелюдимо,
вечер
в мелкую звездь оковал,
и две полосы
уходящего дыма,
как два
раскинутые рукава.

1930

Поэмы

Семен Проскаков

*Стихотворные примечания
к материалам по истории гражданской войны*

Две эпитафии

I

1917 года, при свержении Николки Романова, я, Проскаков Семен Ильич, работал на Ленинском руднике, а всего проработал по разным рудникам Сибири 17 лет. И вот 1917 года я вступил в добровольную Красную гвардию и в партию большевиков. И тут же эта партия повела борьбу против эсеров, против учредилки, и наши советы начали работать, вести в полном смысле и организовывать партию большевиков и повели борьбу с эсерами и с другими партиями за советскую власть, а когда организовывали Красную гвардию, то она работала под руками советов и выполняла все распоряжения советов.

Архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих

В тысячах
повторенный
имен,
из-под глухого
земного покрова
я, партизан
Проскаков Семен,
жить начинаю
снова и снова...
Я проработал
семнадцать лет
на рудниках
и на шахтах Сибири...

Болью резал
глаза мои
свет;
ночь почивала
на мне
и на мире.
В сумерках шахты,
оледенев,
переходя
от забоя к забою,
с черной породой
наедине,
молча
я путь пробивал пред собою.
Этот упорный
и грозный труд,
скреп и подпорок
ломаемых
рокот,
грохот
обваливающихся груд
слышен в моих
неприкрашенных строках.
В год,
когда первому
ясному дню
было дано
надо мною зардеться,
бросил я дом,
жену
и родню
и записался
в красногвардейцы.
Я пролетел,
просквозил,
проскакал
сквозь пули
японцев
и чехословаков,

прям и упорен,
как эта строка,
черен
от угольной пыли
и шлака.
Я, рабочий,
шахтер,
большевик,
сумрачному
и охладелому
сердцу республики
молвил: живи,
бейся
и делай великое дело!
Кто остановит
меня на пути?
Мертвый,
я раны свои простираю
к дальнему свету,
к новому краю,
все пережив
и все победив!

II

— Вы адмирал Колчак?
— Да, я адмирал Колчак.

. . . .

Во время моего первого плавания... я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами. Я готовился к южно-полярной экспедиции, но занимался этим в свободное время... У меня была мечта найти Южный полюс, но я так и не попал в плавание на Южном океане.

«Допрос Колчака», Центроархив, ГИЗ, 1925

Я,
отраженный
в сибирских ночах
трепетом
тысячей звезд
партизаньих.

Я,
адмирал Александр Колчак,
проклятый в песнях,
забытый в сказаньях.
Я,
погубивший мечту свою,
спутавший ветры
в звездном посеве,
плыть захотевший
на юг
и на юг
и отнесенный
далеко
на север.
Я
предупреждаю других,
жаждущих славы
и льнущих ко власти:
ýже
и ýже
сходились круги
темных моих
человеческих странствий.
Плыть бы и плыть мне
к седой земле,
бредящей
именем адмирала,
так —
чтобы сердце,
на миг замлев,
хлынувшей радостью
обмирало.
Но —
не иная земля
у плеча,
и не акулье скольженье
у шлюзов, —
путь мой
искривлен
рукой англичан,

бег мой
направлен
рукою французов.
И
не на штиля
немой бирюзе
встали миражами
жизни виденья, —
кто-то
мне путь и судьбу
пересек
темной,
суровой,
взлохмаченной тенью.
Я,
изменивший стихии родной,
вышедший биться
на сухопутье,
пущен
болотам сибирским
на дно,
путами тропок таежных
опутан.
Я,
никаких не открывший стран,
вижу теперь
из могильного мрака:
жгучею болью
бесчисленных ран
путь заградил мне —
Семен Проскаков.
Против народа
безмерностью пагуб
оборотившему
острие,
если б мне
снова,
сломав свою шпагу,
в Черное море
бросить ее!

Черный атаман

Соратники его знают как человека, не курившего и не потреблявшего спиртных напитков, но много уничтожавшего конфет. Он не имел друзей, чуждался и женщин — он холост. Любил покататься на автомобиле, любил задавить кошку, собаку, курицу, барана. Хотелось задавить какого-нибудь киргизенка.

«10 лет контрреволюции»,
очерк следователя по важнейшим делам
Верховного суда СССР Д. И. Матрона

Первое

1

Не кончились
эти дни,
не кончены
эти дни
горячечной
ломки и стройки.
Глаза мои
ледяни,
слова мои
ледяни,
ревущий ветер
героики!
Чтоб
не теплых цыплят
под строкой
высиживать, —
чтоб
пилою цеплять
выродка
бесстыжего.
Что такое —
хулиган?
Нож
сажая, —
жизнь ему
недорога —
своя,
чужая.

Еще ходят
по Москве,
в Харькове,
Киеве;
он и жулик
и аскет —
есть такие.
С ним
руками пустыми
не цапайся;
он —
не с нами,
не с ними,
он —
сам по себе.
Он кривит
усмешкой рот,
злой
и узкий;
он бахвалится
и врет:
«Я, мол,
русский.
Я останусь
таким
век
до гроба.
Все вы —
рвань,
дураки.
Я —
особый!
Я
об стену
в дому
развалю
башку,
лишь бы жить
моему
самолюбьишку.

Вздену чуни
да кожух —
нет препятствий;
всему свету
докажу:
брось трепаться!
Кой там черт —
социализм?!
Все —
евреи!
Лучше
богу помолись
поскорее:
без икон,
без лампад
мы забыли
о нем...»
Смотришь:
желтый лампас
загорелся
огнем.
Смотришь:
щурит бешено
глазки
узкие...
Сколько им
повешено?!
И все —
русские!

2

Не буяна
пьяненького,
на карачках
лезущего, —
мы судим
Анненкова,
округа
вырезывавшего.

Может,
        жил бы тихо,
фарту б
        дожидался,
если бы
        не вихорь
войны
        гражданской,
если бы не бури
                широкая сила
пену от влаги
                не относила.
Вот он
        сидит —
«потомок»
        декабриста.
В глазах
        у судьи
тайга
        серебрится.
Забелели
        берега
белые
        Байкаловы;
ночь темна
        и велика,
хоть глаза
        выкалывай!..
С ним —
        его вояки,
страшные приспешники:
люди
        или раки,
руки
        или клешни?
На портретах
                Брюллова
такие лица;
рот
        у тонкоскулого
шевелится.

Губы —
тоньше ниточки, —
страх
на врагов;
генеральской
выточкой
светит
погон.
Чуб
из-под околыша
падает
на лоб;
по степи
такого же
нес его
галоп.
Поскрипывали
ремни
у седел
тугих...
Алые
деревни
средь
белой тайги.
Времени
не тратили
белые
каратели:
«Разбегайтесь
по домам,
...с вами —
нянькаться!
С нами
бог и атаман,
мы —
анненковцы.
Нечего медлить,
некогда мешкать:
если младенец —
на штык да об печку;

если взрослые —
встань в затылок,
не таскать же
мертвых до ям;
так,
чтобы заживо
кровь застыла,
рассчитайсь
у могил по краям!
Баб и девок
лови по гуменьям,
эти смолкнут —
другими заменим».
Не расскажут
про все их палачества
те деревни,
что выжжены
начисто;
позапомнило их
Семиречьице —
до сих пор
темнотою
мерещатся.
Вот он
сидит —
«потомок»
декабриста.
В глазах
у судьи
тайга
серебрится.
Как
заученных
слов
ни цеди —
трупы
замученных
в глазах
у судьи.
Если б были они мне
братья,

эти люди-звери,
я стрелял бы в них,
                    слов не тратя
и словам
        не веря!

Партизаны

Приехав в деревню Тележину, там уже нас встретили неприятельской пулей. Тут нам пришлось задержаться на трое суток, и у нас вышли патроны, и нам стало воевать нечем. Тут издал приказ наш командир, чтобы кто как мог, так и спасался от белой сволочи. Здесь мое первое страдание при отступлении, нас искали везде и всюду, и я попал на заимку Елиновку, влез на высокую гору и там спасался пятеро суток, а хлеба ни крошки нет. В пятые сутки я встретился с одним мадьяром отряда нашего, и мы решили пойти скитаться вместе по незнакомой глухой тайге, и отправились по долинам гор, днем лежим, запрячемся, а ночью идем. И до чего же дошло это страдание, что у нас с почв наших ног были раны до костей. Ведь подумаешь это страдание и встретивши его, то все-таки становится тебе жутко.

Архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих

Второв

1

Можно написать:
«...Тропка вела
не то на небеса,
не то на елань».
Мы ж хотим —
                без выдумок,
что жизнь нам
                дала,
рассказать
            о видимых
людях
        и делах.
Чтоб,
        к правде лицом,
пути не терял

сух
и весом —
наш материал,
чтоб
не теплых цыплят
холить нежненько,
чтоб
ноге не цеплять
по валежнику.
Ти-
ше,
ти-
ше,
ти-
ши-
на.
Спи, дитя,
и спи, жена.
Не шуми,
луга,
не дрожи,
осинник!
Нет
у
ми-
ло-
го
черных,
серых,
синих.
Мерцай,
звезд
круг,
темноту
цара-
пай.
Сердца
стук,
стук:
отдохнуть
пора бы.

Настоящими
топкими тропами
шел отряд партизанов
потрепанный.
Не герои-орлы
бессменные, —
шли
рабочие люди семейные.
Шли
без регалий,
шли
без патронов,
шли
и ругались,
хвою затронув.
Шли
по весенней хрусткой капели,
шли,
и, вроде вот этого,
пели:
«Что ты не веселый,
наш товарищ командир?!
Скоро ль наши села
завиднеют впереди?
Шагу не наступишь:
натрудилася нога.
Ты ли нас погубишь,
распроклятая тайга?»
Отвечал печально
наш товарищ командир:
«Я вам
не начальник, —
кто куда хотишь, иди.
Много троп
наслежено,
да кончены пути;
вот она —
Тележина,
да к ней не подойти.
Стоит вам
послушать,

бойцы,
мои слова:
нечего нам кушать
и нечем воевать.
Сосны
еле шепчутся,
обстигла
нас беда.
Обнимемся покрепче,
разойдемся,
кто куда».
Мы тебе ответили,
товарищ командир, —
встретиться
на свете
суждено нам
впереди!
Слушайся приказу,
голодная братва,
расходись не сразу —
по одному, по два.
Тихий шорох,
раскатись
по тревожной ночке,
расходись,
расходись
в темь
поодиночке.
Разровняй, трава,
наш след
по зеленой улице.
Ночью были —
утром нет,
лишь туманы курятся...

2

Горемычно
одному в лесу,
тьма ведет
суконкой по лицу:

хоть и вспомнишь
после =
это ветвь,
на минуту
сердцу —
помертветь.
Одиноко
ночью без костра,
мягкой лапой
выступает страх,
подползает
оползнем когтей,
начинает
тысячу затей.
То ли
шум
несется от реки,
то ли
сумрак
нижут светляки,
и другие
сорок сороков
поднимают
шорох широко.
Горемычно
в сумрачном лесу...
Звезды тлеют
неба на весу.
И идет толпа
ветров тугих
по деревьям
вздыбленной тайги.
Горемычно
одному в лесу...
Солнце,
встань
и высуши росу,
принеси
из сонного села
дым еды
и заглушенный лай!..

Стой, ночь!
Мне с тобою страшно
наедине —
ты такой
тишиной окрашена,
оледенев,
ты такой
тишины ответчица,
вплоть до могил...
Если сердце
со страху мечется,
ты — помоги!
Видишь:
спавший
с камнями ветхими
береговой —
вновь
заводит
с верхними ветками
переговор.
Звякни, звякни
звездой хоть изредка
и урони,
от безлюдья
страшного призрака
оборони...
Шел Проскаков
мимо заимок.
Гнус бросался
в глаза ему,
гнусь лесная
да мошкара;
вместо хлеба —
еловая кора.
Ноги нагие
разбиты в кость.
Всюду враги,
напрямик и вкось.
По всей
по Сибири,
вблизи и далекó,

порки,
пожары
и паника:
справа Семенов,
сзади Калмыков,
слева
и спереди
Анненков.
Черные гусары,
синие уланы,
желтые лампасы
уссурийские —
в криках,
да в свистах,
да в шашек пыланье
всюду мелькают
и рыскают...
А в тайге,
заедены гнусом,
партизаньи головы
гнутся.
Эй, Семен,
бросай,
перестань-ка,
выходи
из дебри
с повинной!
Вот они —
огни полустанка,
теплые хлева
да овины.
Нет, не брошу,
не перестану,
не скули,
шахтерское сердце!
Оползи
кругом полустанок,
погляди
на то офицерство.
Тишь — темна;
бурелом не треснет;

ляг и слушай,
дух захолонув,
разговор,
бормотню
и песни
из открытых
окон салонов:
«...Здоровье его величества
обожаемого монарха!
...Какое угодно количество,
любая марка!
...Тише, поручик,
не вскидывать ручек,
это вам
не российский простор!
Без интеллигентских
штучек,
если пьяны —
ползите под стол!
...Под Тюменью
было именье
в семнадцать тысяч душ.
...Туш, туш. Туш!
Чего расклеились?
Чего раскисли?
Ждете,
чтоб мамка соску дала?
Выбросить к черту
кислые мысли!
...Я мммучительный талант!
Стойте, хорунжий!
В вопросах чести...
— Снимаю дамблэ!
В банке двести...
Пьем за здравие
адмирала!
...Марало!
— Тише, оратель!
Вы — овечка.
Где вам
большевиков свергать?!

Вы —
ни господу богу свечка
и ни дьяволу
кочерга.
...Предлагаю:
в банке сорок!
Ваня, уйдем,
начинается ссора.
...Сла-а-авен
выпивкой
и пляской
чудный полк
Ингерманландский!
— В ночь,
когда стали
все кошки серы,
в дикую ночь
над несчастной страной
вы записались,
я знаю,
в эсеры,
вы к офицерству
стали спиной!
Но,
большевизию
быстро покинув,
пальцы от злости
грызя,
вновь повернули
гибкую спину
к вашим
вшивым друзьям!
Что ж,
вас опять потянуло к онуче?
Тьму
пожаром усадьб
просветлять?..
Только
здесь
вам не место канючить,
демократическая тля!

— Это оскорбленье,
за это ответишь!
...Румяной зарею
покрылся восток.
— Полно,
все условно на свете!
...В банке
четыре тысячи сто.
— Впрочем,
если вам нужен воздух,
выйдем
поговорить
при звездах!
И если то,
что на вас —
мундир,
можно прибавить
несколько дыр!..»
Отползай, Проскаков,
отползай:
выстрел
пламенем тебе в глаза;
на тебя,
приникшего в траве,
валится
убитый человек.
Снова тишь,
и в салон-вагонах
снова крики,
песни
и говор:
«...Вот последняя
сводка реляций:
двое непримиримых врагов —
хорунжий с поручиком —
вышли стреляться.
Один — наповал
на двадцать шагов.
— Это уж хуже.
...Вот он — хорунжий!

— Что случилось?
...Идите сюда!
— Все в порядке,
прошу, господа.
Ставлю
дюжину свежих бутылок.
Адъютантские шпоры
слишком звенят:
красный шпион
застрелен в затылок,
так как шел
впереди
меня!..»
Отползай, Проскаков,
отползай!
Зыбкий сумрак
от рассвета сер.
Не успел
подсумка отвязать
стрелянный
в затылок
офицер.
Хороши
для раненой ноги
мягкого опойка
сапоги;
хорошо,
свернувшись тихо,
лечь,
на плечи напялив
плотный френч.
Лес,
гори
разливами зари,
не до дремы тут,
не до спанья:
сухари в подсумке,
сухари!
И горячий
смоляной
коньяк!

Поезда

Пробившись в Кузнецкий уезд, начали со знакомыми крестьянами подпольную работу, и тут опять работать было рискованно, несмотря на карательные отряды, а работы продолжались против Колчака, но и слышав про действия карательных, как они расправлялись с товарищами, а также семьями партизан, например, каратели издевались над моей семьей, а именно, над моей женой Татьяной Ефимовной Проскаковой, испороли ее в лоскутья и выстегнув ей глаз, которая в последнее время осталась с половиной свету. ...И тут уж пошли такие дела, что, начиная переносить порки и разные наказания, то те люди уже, бросая все и организуясь, шли в отряд партизан. И вот эта-то основная причина партизан, как уже выше указано.

Архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих

Третье

1

Паровоз
идет по рельсам
черным
погорельцем.
Бронированы
вагоны,
шитые
погоны.
...Тяжело,
тяжело
брать на гору
эшелон.
Хорошо,
хорошо б
растереть их
в порошок.
Хорошо бы
вкривь
и вкось
кувырнуться
под откос,
да зарубки
на колесах

не пускают
с двух полосок.
Вдаль, вдаль,
вдаль, вдаль
протянули шпалы
сталь.
Три зеркальных
фонаря
не устанут
в темь нырять.
Над ползущею
совой —
с пулеметом
часовой.
Паровоз
идет по рельсам
черным
погорельцем...
А кругом
кедровая
грозная
тайга,
будто
и не трогая,
смотрит
на врага.
Если подвести
под рельсы штангу,
поезд не дотянется
к полустанку;
вагонов стручки,
перед тем
как сплющиться,
друг на дружку
вздыбятся
и взлущатся;
паровоз,
перевертываясь,
медленный
и важный,

уляжется на бок,
как скот домашний;
и паром
от взорванного котла
окутает
сосен зеленые плечи;
и будут вагоны
гореть дотла,
и будет хрипеть,
надрываясь,
диспетчер:
«...Поезд № 8...
воинский... бис,
согласно графику,
вышел из...»
И снова —
ночные
диспетчера хрипы:
«№ 8...
еще...
не прибыл».

2

Сколько
этих поездов:
двести
или сто?
Всем
дорога им узка,
все
идут в тисках.
Чуя
красную беду,
много дней
подряд
паровозы их
гудут,
буксы их
горят;

машинисты их
бледны,
скулы их
остры,
и уже
вблизи видны
партизан
костры...
Станция Зима.
Чешский комендант Воня́.
Спрыгнул военком —
принимай коня!
Прям, суров и строг:
«Выдать Колчака!»
Дымом от костров
пропитана щека.
«Нас не то что горсть —
знаете поди, —
мы на триста верст
разберем пути».
Чех прищурил глаз,
в этом есть расчет,
в этом есть соблазн:
кровь не потечет.
Сердце к миру склонно,
хоть душа храбра,
в чешских эшелонах
мало ли добра?!
Чех задумчив шибко,
чех глядит в окно:
...швейные машинки,
сахар и сукно.
Думы коменданта
очень высоки:
...мебель и пушнина,
шелк и рысаки.
В голове у чеха
розовый туман.
Щелкнул каблуками:
«То не есть обман!

Ко́лчака не згодно
отдавать на плен,
но то есть согласье,
но то есть обмен!»
Военком
в небритый
усмехнулся ус,
с сердца,
камнем срытый,
отвалился груз.
Ну, а что Проскаков?
Хочешь знать о нем?
Он стоит у входа
с военкомовым конем.

3

«Шпарь, Сенюха!
Выгорело дело:
взяли в плен,
душа его из тела!
Стой сторожи,
глазу не спускай,
в рот не ложи
единого куска.
До ветру бегая,
воду кипятя,
помни вагон
на дальних путях.
Каждую минуту
держи в голове:
нас ведь —
всего-то
шестьсот человек!»
Ни ночью,
ни днем
не снимая тесак,
Проскаков
стоит и стоит
на часах.

А сотни
Проскаковых
бродят вокруг
средь белых,
последних,
разнузданных вьюг.
И бродят
и бредят
о времени том,
когда они встретят
свой брошенный дом,
когда они в эти
вернутся
дома,
не слыша
нигде
атаманьих команд,
и в землю воткнутся
тупые штыки,
и всхлынут о них
боевые стихи.
...А пока мы здесь
разговариваем,
десять лет прошло
сизым маревом.
Пронеслись
и канули,
плавя
длинный след,
эти
великановы
десять лет.
Не под тем ли
градом,
с тех ли
злых дождей
виться
белым прядям
в головах
вождей?

Знаю:
встанут новые
в новый путь,
только те —
суровые —
не вернуть!
Свежая,
сырая,
злая моя жизнь,
ветром раздираемая,
вейся
и кружись!
Что в нее
заманивает,
что влечет?
Только бы
сама она
коснулась
о плечо.
Ходишь
проверяешь:
сердце
не старо ль?
Молодости свищешь
лозунг
и пароль.
Ты ведь
уже тоже
не очень
молода,
если подытожить
тяжелые года.
Как ни подытоживай
и как ни считай,
все-таки
выходит:
другим —
не чета.
Что же ты
не веришь,
сердце бережешь?!

Раз поцелуешь,
губы пережжешь?!
Свежая,
        сырая,
неузнанная жизнь,
годы простирая,
взвивайся
        и кружись!

«Встретиться на свете суждено нам впереди!»

Вот я, Проскаков Семен Ильич, и должен был описать как пережитое при Колчаке в 1919 году дня 8 марта за мартовское восстание; мне пришлось бежать, я скрывался, и в одно время я был предан двумя в дер. Моховой — сельским секретарем и старостой, которые получили за свое предательство меня белым. Ехав по станционной дороге, дали мне приказ слезть и сказав мне, что я тебя буду расстреливать, я, несмотря на свое бессилие, взял в свои изломанные руки кайлу и ударил гада кайлой, которого вышибло из памяти, и он забыл, что у него наган, отскочив от меня, и он начал в меня стрелять, стрелив семь раз, не попал, я избит был, унес половину смерти... Я почувствовал, что он, гад, меня легко ранил, я притаился, он, гад, прошел, бросив меня, понаблюдав, опять идет ко мне, наган в голову и дал три обсечки, в четвертый раз выстрелил наган в мою голову, не попал, а мою голову заменила сырая земля и приняла в себя кровожадную пулю и спасла меня. После отъезда гада я бежал, и после расстрела я попал в отряд тов. Роликова и действовал со своими ранами в отряде, после чего изгнали чехов, я попал в Кольчугино.

Архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих

Четвертое

1

Так не зовут
        простого врага:
                «гад».
Тот,
    кто пóтом чужим
            богат, —
                гад,

тот,
    кто мученью
                    чужому рад, —
                                гад,
тот,
    чье веселье —
                    зарево хат, —
                                гад!..
Под шумы
            речек,
под цокот
            белок,
страшные речи
идут у белых:
«...Помните
            садик,
балкон,
        река...
Щадить краснозадых
нам не рука!
Те,
    кто прервал
эту ровную жизнь,
на интервал
от меня держись!
Я,
  моему государю
хорунжий,
нервов
        и слабости
не обнаружу.
Я их,
      как зайцев,
буду травить
плетью казацкой
из-под травы!..»
Беги,
      Проскаков,
кройся в кусты;
гонят,
        наскакивают

кони
в хлысты!
Слева
в плети
взят аргамак,
прямо
в плечи
шашки замах.
Беги,
Проскаков,
зверем травимый,
кровью горячей
следы свои вымой.
Жив ли ты,
нет ли,
друг мой
безвестный, —
свинцу
и петле
не стиснуть песни.
Пускай
убит ты,
немой
и строгий, —
тобою взвиты
эти строки!

2

Висков серебря
внезапную проседь,
стоял и стыл
Колчак на допросе.
Он никогда
не знал и не ведал
и не встречался
лицом к лицу
с тем,
кто вырвал
над ним победу

из рук холеных
в таежном лесу.
Он никогда
не знал и не понял,
вежливо сдержан,
изящно лукав,
что
не Англия
и не Япония —
Проскаков
держал его жизнь
в руках.
И, лишь выслушав
приговор смертный,
жизнь
перебравши
в последний раз,
вспомнил и он
о силе несметной,
тяжкой силе
восставших масс.
Вспомнил,
увидев
дымок на костре,
мирно курившемся
утром пастушьим...
И разорвал
тишину расстрел
эхом распарывающим
и растущим!..
«...Как иркутская
Чека
разменяла
Колчака,
так и прочих
выловим
свидеться
с Корниловым...»
Может,
эта песня
груба,

но больше
нет у меня
притязаний,
чтоб и моей
гореть на губах
вроде
этакой,
партизаньей!
...Все пережив
и все победив,
с прошлым
будущее сличая,
встань,
Проскаков,
и обведи
землю
выцветшими очами.
Как не узнать ее,
как не понять?!
Разве тебе
эта даль незнакома?
Разве не ты
вскочил на коня,
на боевого коня
военкома?
Разве не ты
в боевых рядах
поднимаешь
лицо свое,
и под марш мой
идешь сюда,
и на строчках моих
поешь:
«...Сыты наши кони,
и крепок дом.
Нас никто не гонит —
мы сами идем.
Твердым, ровным шагом,
с веселым лицом.
Красную присягу
на сердце несем!»

Это тебе
петь и плясать,
радоваться
и веселиться.
Это твои
звонки голоса,
явственны взоры
и лица.
Это тебе
жить и дышать,
скинув
со счету всякого,
кто осмелится
помешать —
песне и жизни
Проскакова.

1927—1928

Рабфак

Окись

Хорошо ли знали вы
поблекшее давно
штанов
          диагоналевых
зеленое сукно?
Добротное,
               рубчатое,
в косую полосу;
за штуку непочатую
иди —
        и голосуй.
Над желтыми
                    прилавками
развернуто вразмах —
любой бы,
              глядя лакомо
на ширь его,
                  размяк.
Губою ножниц
                    схвачено,
попав под острпе,
обляжет грудь
                    проваченной
зеленою струей.

Шурша подкладкой
шелковой,
ходи
да сторонись,
ходи
да пыль сощелкивай
плебейских верениц.
Хорошо ли знали вы
истлевшее давно
голландское
крахмальное
тугое полотно?
Брезгливо
тулясь по стенам
меж криков
молодых,
охвачен им
потомственный,
преемственный
кадык.
Меж демоса
лохматого,
меж курточных грязнуль,
хранит он
незахватанной
святую белизну.
Над желтыми
прилавками —
ложись
да помирай! —
сияют
туфель лаковых
любые
номера.
Блестящею
походкою
зеркалится стопа.
Над вспаренною
сходкою
не место
выступать!

Цвети
      надеждой сладкою,
учись
      и верь в одно,
что жизнь
            с ее подкладкою
добротна,
            как сукно;
что личность
            обособлена,
что собственность
                  свята;
что мир,
         по каплям скопленный,
одет
    в твои цвета.
Тяжел обычай
               бычий:
с отвисшею губой
идет он
        за добычей,
как предки,
            в смертный бой.
Идет,
      других бросая,
в обгон перегонять!
И мир ему —
              косая
веков диагональ.

Окись покрывает тигль

Отглажен и чист
от пробора до ног,
высок и плечист
буржуазный сынок.
На белой подкладке
ни тени, ни складки.
Над пухлой губой —
мироздания пух.

Набравшись силенок,
растет меж зеленых
зеленый холеный,
хваленый лопух.
«Дукат»-папироска,
кудрявей курись!
Сияет до лоска
коллега юрист.
Обнимет рука
доброхотки любой
его сюртука
воротник голубой.
Из чистой науки —
потей не потей —
не выкроишь брюки,
не станешь сытей.
Хоть волос и долог,
но вряд ли — верней,
что занят филолог
природой корней.
Подвержены медики
общественной этике:
земной теплоты
не доставит латынь.
Сначала им нравятся
братство и равенство,
и сходки, и речи,
и прачки счета.
Потом они женятся:
доходы с именьица,
и женины плечи
другим не чета!
В заботах — уж где ему
носиться с идеями, —
спеша и дрожа,
по чинам семенит.
И вскоре
за выслугу
брюха отвислого
«наш уважаемый»
стал знаменит.

Теперь
спеши и действуй,
от радости рыча, —
зеленый стол
судейский,
зеленый стол
врача.
Ни капельки покоя:
картишки
да винцо —
и вот оно какое
зеленое
лицо.
Из плесени
и праха
разросся
и распух
гигантского
размаха
общественный лопух.

Общественное мнение

«Наш врач —
рвач,
без суммы
к нему не лезь.
Но какой он все-таки
дока!
Знает болезнь
до последнего вздоха».
«Наш адвокат —
богат.
В речах его
масса жара!
Ему
распирает бока
от гонорара».
«Ужасный хапуга
наш инженер,

но как он
строит мосты!
Купил
несметной цены
жене
колье —
непомерной красоты!»
«Наш писатель —
Анафоль Кранц,
его читая,
впадаешь в транс.
Всю мудрость мира,
стоит,
обняв,
его
стотысячный особняк!»
«Путь наш
средненький,
но в люди в эти
могут же выйти
наследники —
дети!»
«Шансов —
уйма.
Стараюсь
за Ваню я:
даю ему
высшее образование!»

Тигль начинают чистить

Лишь тогда приветны
огни
городские,
если
отразились они
в мараскине.
Блеск их
обеспеченный
много хуже,

если он
отсвечивает
в темной луже.
«От грязных луж
охрани меня, муж;
от темных сердец
сбереги нас, отец;
защитой семей
остаться сумей!»
Город стоит
на плечах у масс,
город манит,
огнями смеясь,
ожерелий,
мехов
и витрин соблазн
и стотысячных свеч
ножи.
Пациентов обшарь
и клиентов облазь
и на черный день
отложи,
и когда
крепкоребрый сейф
обеспечит
семейных всех, —
тогда поймут
от деда до внука,
какую пользу
приносит наука!
Город стоит
на плечах у масс,
город гудит,
огнями смеясь.
Вдруг —
огни покачнулись,
сжались
теснины улиц.
Город лишился
прежнего веса:

«Примите зачет,
господин профессор!»
Как
и что тому за причина —
в аудитории
лезет овчина?!
«Что это?!
Лошади стрелка чище,
чем эта
закрывшая мел
ручища!
Город лишился
меры и веса:
то ли студент это,
то ли — слесарь?
Стоит
и пимами грязными
топчется.
На чем же строится
«ихнее» общество?
Неужто ж
культуру двинем скорей —
в святая святых
впустив дикарей?!
Мы сами
терпели нужду, учась,
сами
обедали через день,
но все же
мы были —
лучшая часть!
Всегда!
И везде!
Им ли доверить
таинства формул?!
Гонишь их в дверь —
влезают в окно...
Где же порядок?
Где же форма?
Где же
зеленое сукно?»

Толпа гудела на сходках,
на митингах,
и видели —
злись не злись —
все больше ставало
среди умытеньких
безродных,
изъеденных дымом лиц.
Лаборатории
брались с бою!
Окончилась
верхним слоям
лафа!
И рвал из рук
баррикадной борьбою
знанье
у барских сынков —
рабфак.
Не долго пришлось
греметь и грозиться:
подавлен
и численно слаб,
противник ушел
с открытых позиций
в глубь
подсознательных сап.
Немного
по городу стало светлей:
в вопросах
осваиваясь
мировых,
доили науку,
как доят у тлей
питанье
рабочие муравьи.
Сами кормясь
в день пятаками,
их кормили,
им потакали.
Столетних
не трогая образо́в,

не разгибая спин,
упорно долбили науку
с азов,
вбивая
рабочий клин.
А те
ходили своим мирком,
не веря
в иной порядок вещей:
где —
пытались усесться верхом,
где —
ускользнуть в щель.
Но их
осторожно снимали с вершин
несбыточных
планов и смет
и собственный их
расейский аршин
сверяли
на точный метр.
И все уверенней,
и смелей,
и зорче
прищурив глаз,
все жестче
выпаривали из щелей
притихший
враждебный класс.
Теперь,
в пятилетье наших трудов,
над колбою
и над книгою,
если он
совсем не подох,
то —
еле ножками дрыгает.
Но, быстро усвоив
свой новый вид,
при жизни
лежа во гробе,

он все еще мстителен
и ядовит
и мелко
жизнеспособен.
Он нас соблазняет
на легкую жизнь,
кривясь
усмешкою злой,
шепча,
что только
с наукой сдружись —
и выплывешь
в верхний слой.
Обилием яств
и пышностью жен
за счет
своего калача
живи,
комфортом до губ окружен,
и ставку свою
получай!
Живи,
отменно доволен и чист,
и ветер
взойдет на круги.
Живи —
и будешь
сыт и пушист
на радость
пушистым другим.
Живи
на зависть
соседних семей
и сказки глупые
брось.
А классовую
превратить сумей
в классическую
рознь!
Мы часто слушаем,
уши развеся,

всех их теорий
внушительный гул,
самодовольством своим,
спесью
тайно обязанный
врагу.

Тигль чист, вымоем руки

Пусть
злобою насытили
и ненавистью
к нам
сердца свои
носители
зеленого сукна.
Они
нам жвачку старую
суют
в голодный рот,
гавайскою гитарою
звеня
со всех широт.
Они
до боли в печени
взывают
нараспев
про личный,
обеспеченный,
упроченный
успех.
Они
свой полный песенник
сумели
приберечь,
чтоб мы
в зеленой плесени
завязнули
до плеч.

Сорви
подкладку грязную:
покрой наш —
не таков!
Пускай они
не празднуют
победу
сюртуков.
Молчать —
какого лешего!
Пускай
в ответ ворчат.
Суконце-то
истлевшее
на плечиках
барчат!
Над горькою
потерею
нехай они
скорбят —
высокая
материя
в руках
своих ребят!
Ее мы
сами выткали
в заботах
и трудах
и жилистыми
нитками
скрепили
навсегда.
И всей
командой массовой
под стародавний
плач
начнем
в века подбрасывать
земли
тяжелый мяч,

Пускай
не летом нынешним —
в труде,
в нужде,
в борьбе, —
победным
кончим финишем
истории пробег!

1930

Кутерьма
Зимняя сказка

1

Такой мороз,
такой мороз —
берет за хвост,
дерет до слез!
Такой мороз
трескучий,
пристал,
пристыл,
прискучил.
Пар из дверей,
пар из ноздрей,
пар изо ртов
людей и зверей.
Настала беда —
грозна и седа,
зима завинтила
свои холода.
Вдоль по улице
скрипы скрипят,
вдоль по улице
гуды гудут,
и совсем на ней
не видно ребят —
только взрослые
на службу идут.

Еще совслужащий
чай пьет из кружищи;
еще писатель
спит в своей кровати;
а рабочих на завод
гудок зовет:
«Выходите
из домов,
чтобы город
не замолк.
Вылезайте
из камор,
чтобы город
не замерз.
Собирайтесь
у застав
к топкам,
к трубам,
чтобы город
не застыл
синим
трупом.
Замерзает вода,
застывает газ.
Стереги провода,
не спускай с них глаз.
Становитесь к печам,
расчищайте рельсы,
чтобы город,
грохоча,
двигался и грелся».
Паровозы гудут
гудом:
«По морозу идти
ху-у-удо!
Нас веди и грей
даже в праздники,
подбавляй углей,
лей из масленки!»
Такой мороз,
такой мороз:

укроешь нос —
к бровям прирос.
Такой мороз
здоровый,
идет-хрустит
дорогой!

2

А ребята
сидят по домам.
За окошком —
холодный туман,
на окошке —
в два пальца лед,
даже в щелку
взглянуть не дает.
Для ученья
школы закрылись,
не слыхать
голосов у крылец.
Тридцать восемь градусов —
вот так мороз!
Тут не обрадуется
даже эскимос.
Галки и голуби
стынут на лету:
по такому холоду
мчать невмоготу.
Над землею —
инея борода,
под землею —
стылые провода.
По проводкам бежит
тих ток,
не видал его бег
никто;
по квартирам струит —
тише капель,
посылает его
главный кабель.

Если лампочка
не зажжена,
в темной комнате —
тишина:
ни звонкого смеха,
ни бодрого крика,
скучно,
печально,
темно и тихо...
Зажигайся в три часа,
в три часа,
зимнее веселое
электричество.
Соберем заранее
мы собрание:
как нам быть
с ползучими
зимними тучами.
Вдруг лампочка —
клик-клак!
Стал в комнате
слеп мрак.
Дети в кухню —
зажечь газ;
газ перемерз,
зашипел и сгас.
И приходится
жить без света.
Невеселое
дело это!

3

Мороз
зубами скрипнул,
землю облапил
и перегрыз
электрический кабель,
Эту улицу
и вон ту

погружает он
в темноту.
На углах костры —
языки остры,
не разбить никак
им морозный мрак.
Город
сумрачен стал
и темен,
сникло
в фабриках
пламя домен,
трамвай не бежит,
фонарь не горит.
Какой несчастный
у города вид!
В учреждениях — тьма,
в магазинах — свечки.
Распоясалась зима:
посиди у печки.
Завалила город
тьма —
словно в яме...
Перепутались дома —
номерами!
Закружилась
кутерьма
по панели.
В старину лишь
терема
так темнели.
Как лесной идут тропой,
вдаль
на ощупь, —
люди движутся
толпой
через площадь.
Гулко хлопают дверьми.
Но не сладок,
никому такой не мил
беспорядок.

А мороз-медведь
белой лапою
за носы и за щеки
цапает.
Что тут делать
и как тут быть,
чем горю
города
пособить?

4

Из электростанции
на мороз
матерый
зашагали
статные,
крепкие
монтеры.
Темнота
все больше,
лед — лют.
Под скрипучей
толщей
лег люк.
Сладко
стуже-злюке
цапать
за лапы,
потому что
в люке —
главный кабель.
Притронешься
к железу,
за лапу —
цап!
А ему же
лестно
быть сильнее
лап.

А монтеры
рослые,
инеем
промерзлые,
на плечищах
куртки
да в зубах
окурки,
видят —
беда.
И там они
и тут они,
в морозный пар
окутаны,
чинят
провода.
Починили,
сделали, —
в студеный
туман
от снега
поседелые
пошли
по домам.
И сразу загорелся —
свет!
Свет!
Сверк!
Трамваи
по рельсам
бегут
вниз — вверх.
Если с фонарями —
гореть —
уговор, —
свети
до самой рани,
фонарь
дуговой!
Фонарь на дворе,
и фонарь на пороге.

Снова пионеры
учат уроки.
Стоят и горят
фонари
на страже,
и нам —
с фонарями
мороз не страшен.
Пусть он щиплется,
пусть он дерется —
не проберется
он сквозь воротца.
Всюду
его
остановит
свет:
«Стой,
мороз,
входа
нет!»
Пионеры
крепко спят,
сторожа
вокруг скрипят.
Сторож,
в кожухе до пят,
видит
снежный искропад.
Небо
низколобое
брови
свело,
стряхивает
хлопья
с облачных
волос.
Ровно дыши,
пионерское племя, —
завтра уже
будет
потепленье.

Выйдем утром,
шеи укутав,
да заколышем
легонькие лыжи,
да, полозами
по скату заляскав,
вверх выползая,
потащим салазки.
Город снеговой,
не обидь никого!
Город запорошенный,
сделайся хорошим!
Город весел,
сосулек понавесил!
Снегу! Снегу!
Смеху! Смеху!
Сколько на улице
веселых ребят,
сколько взрослых
на службу идут!..
Вдоль по улице
скрипы скрипят,
вдоль по улице
гуды гудут!

1930

Антигениальная поэма

Наш путь стихотворца —
не выдуман, —
он стал только
вдвое скорей:
мы щиплем теперь
индивидуумов,
как раньше —
щипали царей.

Глава 1

**Вступление,
в котором автор ведет читателя
к герою сквозь вьюгу**

Хорошо
гуляет вьюга за окном,
белый сумрак
расстилает волокном.
Хорошо
в Москве метелице гулять,
засыпать в снега
дворы и флигеля.
Хорошо
московской умнице
перелетывать
по улице.
Чтоб не видно было
выбоин да ям,
намела она
сугробы по краям;
чтоб не слышно было
поздних шагов,

навалила
мерцанья снегов;
а над крышами
кружится
серебристое кружевце.
Мы идем,
воротники отвалив,
белою заметью
виски подбелив.
Эка вьюга,
неусыпница,
больно за уши
щиплется.
Замела она
дворы и следы, —
сразу стали мы
стары и седы.
Будто прожили
тысячу лет,
будто кончился
нынешний свет.
Расступилась
белых улиц тишина,
редко-редко
желть окошка зажжена.
Отработала
Москва свои часы,
завалилась:
отозваться не проси.
Если нам
переулком идти,
вряд ли встретится
кто на пути,
только где-то
у мерзлых ворот
над костром
не замолк говорок:
под тулупною
тяжестью
речь неслышная
вяжется.

Стоп!
Давай-ка посидим минутку
с ним,
с этим поздним
разговорщиком ночным.
Собеседник
приветлив и сед,
будто создан
для долгих бесед;
впрочем, может,
в метель занесен,
разговором
он гонит свой сон.
Только видно:
он дед мозговой —
у него
не пустой разговор.

Глава 2

Первый разговор
про вагоновожатого,
тоже пытающегося стать героем

Вагоновожатый
вел вагон,
трудно
вагоновожатому.
Скучно было
в руке его
млеть
рычагу зажатому.
Скучно мыкаться
день-деньской,
путь свой
меряя заново.
Шел вагон
по Тверской-Ямской,
шел,
гремел
да позванивал.

Шел вагон себе
так и сяк,
без озорства
и паники.
Вдруг —
откуда возьмись —
такся
с резвой такой
компанийкой.
Вагоновожатый
глаз скосил,
глянул поверх
и искосу,
смотрит, внутри его —
магазин:
шубы —
цены не высказать;
дамские юбки —
вверх до колен, —
видно,
что на душе ее;
словом сказать —
буржуазный плен,
мелкое
окружение.
Вагоновожатый —
в бег вагон:
не уступать
нэпачеству.
Пьяный шофер
от него в угон, —
стоит ли
с этим пачкаться!
Но у вожатого
муть в глазах,
искр над дугой
блистанье.
«Враз от меня
отлетишь назад,
вмиг от меня
отстанешь!»

Мчал вагон
за заставу влёт.
Дамский скошен
в испуге рот.
Мечет вожатый
глазом:
шубы
свалились наземь.
Как оно вышло —
сказать не могу,
камни тут были,
кажется...
Грянул вагон
в такси на бегу
всей разогнанной
тяжестью...
После судили его
за азарт
и за убийство
граждан...
Только случается,
я бы сказал,
этакое
не однажды.
Много из нас
не умеют понять,
как и кого нам
перегонять,
рвут
от зажатой силы
жизни свои
и жилы.

Глава 3,

из которой выясняется, что героев принято выдумывать

Хорошо
метель шумит за окном,
белый сумрак
метет волокном.

Хорошо
старик ведет свой рассказ,
словно музыкой
слух заласкав.
Как еще ни посидеть
часочек с ним,
с этим выдуманным
сторожем ночным,
что хранит
Москвы дремучие часы,
что ледяшки
надышал себе в усы,
что поник
и хитро и востро
над стреляющим
ракетой костром?!
Это ты сидишь,
читатель,
предо мной,
это ты
снега качаешь пеленой.
Не метель
закрывает города,
а твоих
старинных правил
борода
распушилась
исконными
announcedисными
законами.
Чтобы в повести
пришел к тебе
герой,
чтобы снял он
тяжесть
с плеч твоих горой,
чтоб тебя растормошил,
разволновал,
чтобы выдумал
высокие слова,

чтобы,
этими словами
охмелен,
захрапел бы ты
меж вьюжных пелен.
Подожди,
не смыкай же глазка —
он второй
начинает рассказ...
Кто герой наш?
Кто наш выдумщик?
Кто из низких дел
нас выручит?

Глава 4

**Второй раосказ,
в котором героя дела
сменяет герой мысли**

Стоит
у лавки винной
старик
старинный.
Стоит он
со стаканчиком
и ждет
заказчиков.
С утра стоит
и топчется
к услугам
общества.
Никто его
не судит...
Да в чем
его вина?
Негоже быть
посуде
без вина.

Текут в него
опивки,
как в винную
копилку.
Ему отрежут
хлебца,
отломят
огурца, —
глядишь,
и он согрелся
и зраком
замерцал.
Он —
к ночи весел,
и сыт,
и пьян,
и просит
песен
гора
тряпья.
А к утру —
со стаканчиком
стоит
и ждет заказчиков.
И в общем
результате —
неплох
изобретатель.
Иные —
к хмелю пущему —
услужливо
суют
непьющему
и пьющему
посудину
свою.
У всех ворот
простаивая —
за жизни
красоту,

посудиной
хрустальною
сияют
на свету.
Уж если сами —
пьяницы,
другим
чего ж желать?!
И песнями
баянятся
их мысли
и дела...
Подожди
с твоею сказкой,
говорун, —
нынче этакое
нам не ко двору.
Ты не хочешь ли сказать,
что паразит
этой ночью,
этой вьюгой
нам грозит?
Что останется над нами,
как была,
нищей мудрости
тугая кабала?
И что жизнь свою
построим мы,
подгибаясь
под героями?
Я отвечу
на глухие слова:
«Наша жизнь
по-иному нова.
Ты послушай
мою теперь речь —
как снимаем
героев
мы с плеч».

Глава 5

Третий разговор и последний о героях и гениях безо всякой насмешки

Не забывай,
мой стих,
слов прямых
и простых.
Люди
любят героев,
издалека
заметных,
затканных мишурою,
в лаврах
и позументах.
От головы
Нерона,
дальним векáм
завещан,
в мир,
мечом покоренный,
тянется
луч зловещий.
Тьмою
летел Аттила
над пеленой
людскою,
чтоб
времена мутило
ужасом
и тоскою.
Над простотой
миллионов
виснули,
тяжесть вытряхнув,
тени
Наполеонов,
Карлов,
Петров
и Фридрихов.

История
делает вид,
что мир,
как и встарь,
неизменен:
что так же
был знаменит
Владимир Ильич
Ленин.
Долой
буржуазную ложь,
встающую
пыли горою!
Если не он,
то кто ж
был
против героев?
Равен
с любым в рост,
Ленин
был прост.
Разбивая
толки кривые,
предрассудков толпы
боря,
он
никому
не сгибал выи
и никого
не покорял.
Он
никому
не вставал на плечи,
взор перед ним
ни один не мерк;
все его
поступки и речи
поднимали
головы вверх.
Зная,
что каждый цех

светом грядущего
светел,
он —
не «один за всех»
шагом
историю метил.
Глядящий
миллионами глаз
не в мелочи
личных выгод, —
он знал,
что лишь новый герой —
класс —
может
события двигать.
Ленин
был рад
с ним
идти в ряд.
Из предрассветной
глуби,
день
различая по-разному,
люди
гениев любят,
мир
покоряющих разумом.
Плоск
человеческий пласт,
густ
человеческий рой:
ждем,
чтоб возник среди нас
гений
или герой.
Эти басни —
других опасней.
Если взвивается
в небо комета, —
тьма над землею
не поредеет.

Будем ли ждать
своего Архимеда?
Будем ли чтить
своего Фарадея?
Нет!
Миллионами воль
сплавимся
с пламенем этим,
и —
миллионами вольт
новое время
осветим!
Не делайте
Ленина гением, —
случайным
комком ума:
ему песнопения —
жизнь сама.

Глава 6

Заключение

А пока
метель гуляет
за окном,
мы давай
с тобой запомним
об одном:
пусть, не зная
ни героев,
ни владык,
подрастает
наше племя
молодых.
Мы поможем им
сильнее день со дня
против гениев
восстание поднять.
Мы поможем
слиться силе молодой

так,
чтоб кровь переплеснулась
сквозь ладонь.
И, поняв,
как эта сила
велика,
каждый,
мужеством
в делах своих ретив,
над героями
поднимет
на века
неразжеванное слово —
коллектив!

1930

Необычайное

Чего я хочу? Необычайного.
Того же, что Гоголь и Шамиссо.
Чтоб нос путешествовал по проспекту,
а тень отделялась от каблуков,
свертывалась, как пергамент, в ролик
и исчезала в широких карманах
похитителя серых теней.

Необычайное — не только в этом,
не только в выдумке и балагурье,
но и в том, чтобы смотреть
преувеличенными глазами,
но и в том, чтобы дышать
преувеличенными глотками,
преувеличенными шагами
жизнь настигать и перегонять;
оно в нарушении хода событий,
в переиначенной жизни героя,
в том, чтобы выдать одно за другое,
в меткости слов и в яркости чувств.

Необычайное — всюду, всюду,
ходит, толкается по базару,
лезет в соседний карман за сдачей,
ржет тебе в уши меж двух трамваев,
каплею плющится в лоб с карниза,
лепит в профиль углы подушки,
неповторимостью цепенит.

Видели ль вы, чтобы шла купаться
торгово-промышленная газета?
Шла солидно и неохотно,
переваливаясь по пляжу,
в зад подталкиваемая дуновеньем,
подгоняемая ветерком?
Вначале она вздувалась, как парус,
и плыла, белея, как барка,
потом, распластанная волною,
колыхалась блаженно-глупо,
в соль пропитанная насквозь.

Видели ль вы, чтоб зеленые урны
для плеванья и для окурков,
встав в кружок, на заре под утро,
длили свой молчаливый митинг
в небеса вопиющими ртами —
о предстоящей тяжелой работе
и о том, сколько грязи и сору
за день приходится проглотить?!

Видели ль вы, наконец, собаку,
взятую гицелем на обрывок,
дворником вынутую из петли,
освобожденную от позора,
под мастерскую ругань и крик?
Как она жаловалась и визжала!
Как она бегала за оградой!
Как она лаяла на фургоны,
подозревая всюду измену,
гибель, предательство, петлю и плен!

Видели ль вы дитя в рубашонке,
вставшего раньше восхода солнца,
над цветниками застывшего с сеткой,
ждущего сосредоточенно, молча
бабочки близкое трепыханье?
Если его окликните: «Толя!» —
он не ответит, не шелохнется,
он — как застывшее изваянье,
сгусток охотничьего терпенья,

сжатой в комок неразгаданной силы,
имя которой — упрямая страсть.
Вот я окликнул его — он не слышит,
вот я затронул его — он недвижим;
только досадливо шевельнулась
тоненькая золотая бровинка
на нарушителя тишины.

И тогда начало мне казаться,
что не бабочки пестроцветье
завладело его вниманьем,
что следит он, и ловит, и видит
то, что видеть мне не дано.
И, присев на корточки рядом,
стал следить я за направленьем
сосредоточенных детских глаз.
И, отодрав пелену слепую,
словно окалина мглящую взгляды,
я увидал внезапно и близко
все, на что он глядел напряженно,
что разбирал он в цветенье формул —
листьев, тени, песка и росы.

Раз! И слетела завеса с сердца,
раз — это было широким утром —
что-то случилось с землей седою,
мир повернулся на синих призмах,
стал на зарубку больших времен;
что-то сменилось в земле и в небе:
тень пробежала, что ли, косая
и охватила игрою света
все, чем я раньше жил и дышал.

Разом взлетели цветы на стеблях,
переменились песка оттенки,
в море стеклянные встали сваи,
песни людей зазвенели с неба.
Лица друзей просквозили ветром,
с губ послетели забот морщины;
страх и унынье упали в воду,
горечь и злоба распались в дым.

Мчалось по почте тепло на север,
по телеграфу неслась прохлада,
юность дарилась на именины,
сила стояла на перекрестках
и отпускалась слабым рукам.
Плечи работали, не потея,
в каждом движенье цвела удача,
каждое сердце кипело страстью
и не старело, не выгорало,
а — раскаленное до отказа —
переплавлялось в иной размер.
Тени машин колыхались мерно,
ритм нагнетая в людскую волю,
свет разливая везде и скорость,
шумом своим распрямляя жизнь.

Стала земля без щелей и рытвин,
дочиста вымыта и обрыта
сетью дорог, каналов и шлюзов,
ферм и мостов служа украшеньем;
свежесть и дичь ее не пропала,
не захирела лесов щетина,
но — выгонялись они фабрично,
как озонаторы-резервуары.
Там, где лысело пустынь пятно,
папоротник севера взвился пальмой,
мох распушился в густые степи,
вместе с прохладным морским теченьем
в Черное море плыли тюлени.
Стала земля без трясин и тины,
без грохотанья лавин и обвалов,
дочиста вымыта и одета
в платье искусственных удобрений,
в острые струи зеленых каналов,
в синие ленты воздушных линий.

Омоложенная влагой и светом,
мильоннолетняя эта старуха
стала веселым и чистым котенком,
стала одним огромным хозяйством,
где никому не темно, не больно,

не одиноко, не сиротливо,
где тебе каждый дорогу укажет,
лаской обвеет и песню споет.

Что же такое случилось с землею,
что пронизало людские поступки? —
Необычайное вышло наружу,
необычайное стало законом.
То, что, смеясь, отвергали люди,
точно бессвязную небылицу, —
стало историей и дневником.

Только подумать, что это будет!
Это случится на том же месте,
где мы живем, ненавидим, любим,
где мы идем, как по дну водолазы,
двигая медленно и неохотно
будней свинцом налитые ноги.

Только подумать, что это станет!
Станет сверкать на столбах придорожных,
станет густеть в долголетье хроник,
в неописуемый влившись шрифт.
Пишущие машинки без стука
станут записывать сами мысли,
будут жилища перемещаться
вкось по воздуху в дальние страны,
будет — не только когда чихают —
каждое выполняться желанье,
будет веселье — как соль к обеду,
в каждом жилье заблестит термометр,
измеряющий счастье живущих,
ниже четырнадцати делений
не допускающий сил упадка.

Люди иной, хрустальной эпохи
станут внимательней и точнее,
станут видеть, что нам непонятно,
и о нас вспоминать, как о старых
консерваторах и неряхах,

головой с сожаленьем качая,
говоря, что это случилось
(точно мы о царе Горохе)
до распаденья атомных ядер,
до коммунизма на всей земле!

Может, другое названье будет,
лучше, звончее, понятней, ярче,
но назовем его коммунизмом,
так как, его ощущая сердцем,
кожей, ноздрями, весной, дыханьем,
так мы его пока понимаем.

И о таком непривычном веке,
и о таком невозможном свете
весть синеватую и сырую
я подсмотрел, подглядел, подслушал,
тихо нацелившись и наблюдая,
в щелочки детских пытливых глаз.

Необычайными стали тени,
необычайными стали мысли,
необычайностью стало время,
мне отпущенное на жизнь.
Так как — бабочкою кружася,
пестрой выдумкою сверкая,
село будущее перед нами
на росой покрытый цветок.
Так как дитя со мной было рядом,
так как дитя его ждало жадно,
так как пред детским горячим взглядом
будущее не умеет лгать.

Необычайное ж — всюду, всюду,
только вглядись в него вровень с морем,
только лови его на обрывок,
только застынь над ним с плотной сеткой.

И не морской благодатный отдых,
а закипит дорогая тревога —
пестрым блеском, осколком сини,
тысячью непережитых мгновений
враз опрокинувшись на тебя.

1930

ПРИМЕЧАНИЯ

Во 2-й том Собрания сочинений вошли стихотворения и поэмы 1927—1930 годов из следующих книг Николая Асеева:

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Собрание стихотворений в трех томах, ГИЗ, М.-Л. 1928, том II. Включены стихотворения из всех трех циклов тома: «Столичная лирика», «Оранжевый свет», «Стихи на случай».

2. Собрание стихотворений, ГИЗ, М.-Л. 1930, том IV (дополнительный). Включены стихотворения из двух циклов тома: «Чужая», «Разные стихотворения».

3. Работа над стихом, «Прибой», Л. 1929.

4. Избранные стихи, ГИЗ, М.-Л. 1930. Включены стихотворения из двух циклов книги: «Героика», «Курские края».

5. Запеваем! ГИЗ, М.-Л. 1930.

ПОЭМЫ

1. Семен Проскаков, ГИЗ, М.-Л. 1928.
2. Рабфак, Собрание стихотворений, ГИЗ, М.-Л. 1930, том IV.
3. Кутерьма, там же.
4. Антигениальная поэма, там же.
5. Необычайное, там же.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Столичная лирика
(1928)

Оранжевый свет
(1928)

Стихи на случай
(1928)

Чужая
(1928)

Работа над стихом

(1929)

Разные стихотворения

(1930)

Героика

(1930)

Курские края

(1930)

Запеваем!

(1930)

ПОЭМЫ

Асеев

Николай Николаевич

Собрание сочинений

том 2

Редактор *Н. Крюков*

Художественный редактор *Ю. Васильев*

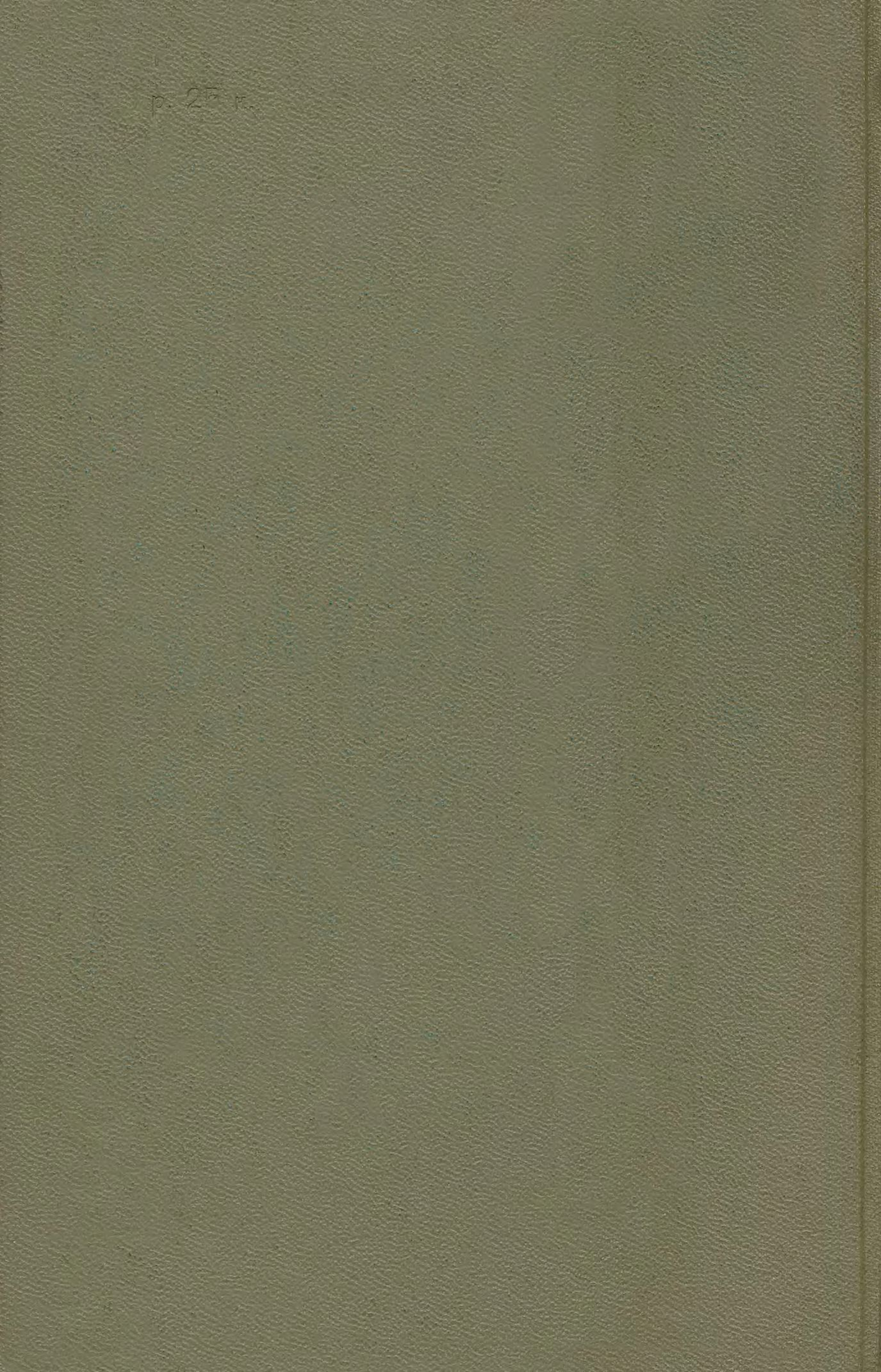
Технический редактор *З. Евдокимова*

Корректоры *Р. Пунга* и *А. Юрьева*

Сдано в набор 21/III 1963 г. Подписано к печати 30/IX 1963 г. А-07040. Бумага 84×108[1]/32. Печ. л. 13. Усл. печ. л. 21,32. Уч.-изд. л. 18,652. Тираж 27 000. Зак. № 278. Цена 1 р. 25 к.

Издательство художественной литературы, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.


р. 25 к.